

Александр ДЮМА

КАВАЛЕР КРАСНОГО ЗАМКА



Александр Дюма

Кавалер Красного замка

«ВЕЧЕ»

1845

Дюма А.

Кавалер Красного замка / А. Дюма — «ВЕЧЕ», 1845

ISBN 978-5-4444-8736-5

1793 год. После казни короля Людовика XVI вся Европа ополчилась на Францию. Англия была у ее берегов, Испания на подступах к Пиренеям, Австрия и Пьемонт у Альпийских гор, а голландцы и пруссаки напирали с севера. Главная цель – Париж, где в мрачном застенке еще бьется сердце несчастной королевы Марии-Антуанетты, чья участь, увы, почти предопределена. Но вожди Революции не дремлют. Вокруг столицы усилены патрули. Патриоты, вооруженные до зубов, с упоением прочесывают улицы и закоулки, готовые арестовать или вздернуть на фонарь всех, кто вызывает подозрение. Ждать больше нельзя. Группа заговорщиков-роялистов, забыв не только про собственную безопасность, но и про безопасность своих родных и близких, решает поставить на карту все. Чем же обернется для них дерзкая попытка спасти от гильотины вдову короля Франции?

ISBN 978-5-4444-8736-5

© Дюма А., 1845

© ВЕЧЕ, 1845

Содержание

Об авторе	6
I. Завербованные	8
II. Незнакомка	13
III. Улица Фоссе-Сен-Виктор	18
IV. Нравы времени	22
V. Кто вы, гражданин Морис Лендэ	27
VI. Тампль	30
VII. Клятва игрока	35
VIII. Женестьева	40
IX. Ужин	46
X. Сапожник Симон	51
XI. Записка	56
XII. Любовь	61
Конец ознакомительного фрагмента.	65

Александр Дюма

Кавалер Красного замка

© ООО «Издательство «Вече», 2013

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2016

Сайт издательства www.veche.ru

Об авторе

«Это не человек, а сила природы», – говорил о Дюма историк Жюль Мишле. Эти слова подтверждали все, кто лично знал Александра Дюма. Человек, обладающий огромной сердечной теплотой и неумной энергией, Дюма был неистощим. Он, словно вулкан, исторгал нагора одновременно по несколько романов, пьес, журнальных статей, между делами встречаясь с друзьями и актрисами, вечерами закатывая лукулловы пиры, на которых сам участвовал в роли повара, запросто засучив рукава и нацепив фартук (одна из последних книг Дюма – огромная «Кулинарная энциклопедия»).

Александр Дави де Ла Пайетри Дюма (такова была полная фамилия будущего писателя) родился в живописном городке Виллер-Котре, находившемся к северу от Парижа близ Суассона. Родителями его были: прославленный наполеоновский генерал Тома-Александр Дюма и дочь трактирщика Мари-Луиза Лабурэ.

Детство юного Александра прошло без особых забот и треволнений. Он рос как трава на ветру, в праздности и свободе. Его образованием пыталась заниматься мать, однако непоседливый ребенок, быстро прочитавший Библию и трактат по мифологии, беспечно заявил, что теперь он знает обо всем на свете и переключился на занятия фехтованием, уроки танцев и охоту, убегая в лес, когда вздумается.

Однажды, открыв для себя театр, Дюма моментально решил стать драматургом. Заявив матери, что он запросто завоюет Париж, Францию и весь мир своим пером, Дюма отправляется в столицу и, благодаря некоторым связям и каллиграфическому почерку, устраивается писцом к герцогу Орлеанскому.

После нескольких попыток написать оригинальное произведение для театра к Александру наконец приходит успех: к постановке была принята его драма «Генрих III и его двор» – одна из первых французских пьес в жанре романтизма. Пьеса Дюма была воспринята с триумфом.

Молодой драматург быстро учится. Он посещает театры и много читает: мемуары, хроники, исторические исследования, произведения классиков. Увлечение историей наталкивает Дюма на мысль стать местным Вальтером Скоттом, описав, по примеру прославленного шотландца, в романизированной форме всю средневековую историю Франции. Сказано – сделано. Первой исторической книгой Дюма стал роман «Изабелла Баварская» (1835). Окрыленный успехом на новом поприще прославленный драматург переключается на набирающий популярность вид газетной публикации больших произведений. Так называемые романы-фельетоны – захватывающие истории с продолжением в следующем номере. В этом жанре Дюма быстро достиг такого мастерства, что его стали именовать королем романа-фельетона, начиная копировать и продолжать его творения. С раннего утра летних дней 1844 года вся Франция становилась в очередь в газетные киоски, чтобы купить новую порцию «Трех мушкетеров» и узнать, какая участь ждет ужасную интриганку Миледи и останется ли в живых четверка верных друзей, затеявших опасную игру с кардиналом. Следом за «Мушкетерами» Дюма выпускает новые шедевры – потрясающую историю мести «Граф Монте-Кристо» и средневековый роман плаща и шпаги «Королева Марго». Читатели требуют еще и еще, а писатель и не думает останавливаться. «Двадцать лет спустя», «Шевалье де Мезон-Руж (Кавалер Красного замка)», «Графиня де Монсоро», «Ожерелье королевы». Большинство из этих прославленных романов Дюма написал в соавторстве с историком и литератором Огюстом Маке.

Наряду с литературной деятельностью Дюма много путешествовал. Он объездил практически всю Европу, два года провел в России (1858–1859), посетив Петербург, остров Валаам, Москву, Царицын, Закавказье. Кроме того, Дюма принимал участие в Июльской революции 1830 года и помогал Гарибальди в борьбе за объединенную Италию.

Известие о первых поражениях во время Франко-прусской войны Дюма воспринял как личное горе. Он тяжело заболел и, уже будучи полупарализованным, переехал жить в Пюи, в дом сына (тоже писателя и драматурга). Здесь 5 декабря 1870 года Александр Дюма-отец скончался. В 2002 году его прах был перенесён в парижский Пантеон – усыпальницу великих людей Франции.

Владимир Матющенко

Избранные произведения А. Дюма-отца

- «Три мушкетера» (Les Trois Mousquetaires, 1844)
- «Двадцать лет спустя» (Vingt ans apres, 1845)
- «Королева Марго» (La Reine Margot, 1845)
- «Кавалер Красного замка» (Le Chevalier de Maison-Rouge, 1845–1846)
- «Графиня де Монсоро» (La Dame de Monsoreau, 1846)
- «Граф Монте-Кристо» (Le Comte de Monte-Cristo, 1845–1846)
- «Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя» (Le Vicomte de Bragelonne, ou Dix ans plus tard, 1847)

I. Завербованные

Был вечер 10 марта 1793 года.

На башне собора Парижской Богоматери пробило десять. Словно ночные птицы, разлетались из бронзового гнезда своего удары курантов – грустно и монотонно.

Тихая, холодная, туманная ночь набросила свой покров на Париж.

Сам Париж был не тот, что ныне, – ослепляющий вечерами тысячью огней, отраженных в позолоченной слякоти; Париж озабоченных пешеходов и озорных шепотков, доносящихся из вечно хмельных предместий, этих рассадников дерзких смут и отчаянных преступлений. То был Париж стыдливый, робкий, чем-то озабоченный. Редкие прохожие боязливо перебегали из одной улицы в другую, торопливо скрывались в подъездах или подворотнях своих домов, словно дикие звери прятались в норы, почуяв охотника.

Одним словом, это был, как мы уже отметили, Париж 10 марта 1793 года.

Скажем несколько слов о неожиданных обстоятельствах, так резко изменивших облик столицы. Затем начнем рассказ о происшествиях, положивших начало этой истории.

Франция после казни короля Людовика XVI восстановила против себя всю Европу. К трем врагам, с кем она прежде воевала – Пруссии, Австрии и Пьемонту, – присоединились Англия, Голландия и Испания. Лишь Швеция и Дания хранили свой обычный нейтралитет, наблюдая за действиями Екатерины II, попиравшей независимость Польши.

Положение было ужасное. Франция была обессилена и не представляла для них опасности. И в нравственном отношении ее перестали уважать после сентябрьской резни 1792 года и казни короля 21 января 1793-го. Буквально вся Европа осаждала ее, словно какой-то захудалый город. Англия была у ее берегов, Испания у Пиренеев, Пьемонт и Австрия у Альпийских гор, а Голландия и Пруссия на севере Нидерландов. Только в районе Верхнего Рейна и Шельды 250 тысяч воинов выступили против республики.

Французские генералы были всюду разбиты. Мачинский оставил Ахен и отступил к Льежу. Штейнгеля и Нейлли преследовали до Лимбурга. Миранда, осадивший было Маастрихт, ретировался к Тонгру, Баланс и Дампьер вынуждены были отступить, бросив обозы. Более 10 тысяч солдат дезертировали из армии и перешли к неприятелю. Конвент, надеясь лишь на генерала Дюмуре, готовившего вторжение в Голландию, отправлял к нему гонца за гонцом с приказанием оставить берега Бисбооса и принять командование над мозельской армией.

У Франции, словно живого организма, было больное сердце, и этим сердцем был Париж. В нем больно отдавался каждый удар, наносимый в самых отдаленных пунктах. Он страдал от вторжения неприятелей и от внутренних смут, мятежей и измен. Любая победа сопровождалась пышным торжеством, всякая неудача – неистовым страхом. Поэтому нетрудно понять, какое волнение вызвали известия о поражениях, следовавших одно за другим.

Накануне, 9 марта, в Конвенте было бурное заседание. Всем офицерам отдали приказ немедленно отправиться к своим полкам, и неистовый Дантон, заставлявший свершать невозможное, Дантон, взойдя на кафедру, с жаром произнес:

– Не хватает солдат, говорите вы?! Дадим Парижу шанс спасти Францию, попросим у него тридцать тысяч человек, отправим их к Дюмуре, и тогда не только будет спасена Франция, но падет Бельгия, а Голландия и так наша!

Предложение было принято с восторженными криками. Началась запись добровольцев во всех городских секциях. Театры – не до развлечений в час опасности – были закрыты, а на городской ратуше вывесили черный флаг в знак бедствия.

К полуночи 35 тысяч имен были вписаны в реестры.

Но и в этот вечер случилось то же, что в сентябрьские дни: в каждой секции завербовавшиеся волонтеры требовали, чтобы изменники были наказаны до их отправки в армию.

Изменниками были тайные заговорщики, угрожавшие революции. Вес этого слова зависел от значения и влияния партий, раздиравших в эту эпоху Францию. Изменниками были самые слабые. А так как самыми слабыми были жирондисты, то монтаньяры (депутаты Горы) решили, что жирондисты и являются изменниками.

На другой день, 10 марта, все депутаты-монтаньяры явились на заседание. Вооруженные якобинцы заполнили трибуны, изгнав оттуда женщин; когда явился мэр во главе совета общественного благоустройства, он подтвердил представление комиссаров Конвента относительно преданности граждан, но повторил желание, единодушно изъявленное накануне, – об учреждении Чрезвычайного трибунала для суда над изменниками.

Громкими возгласами Гора потребовала донесения от тут же собравшегося Комитета, и спустя минут десять Робер Лендэ объявил, что будет назначен трибунал в составе десяти членов, не подчиненных никаким правовым формам, которые будут собирать все сведения любыми путями. Этот трибунал, разделенный на два непрерывно действующих отделения, будет преследовать, по указанию Конвента, всех, кто попытается ввести в заблуждение народ.

Жирондисты поняли: это им приговор. Они восстали.

– Лучше умереть, – восклицали они, – чем согласиться на учреждение этой венецианской инквизиции!

В ответ монтаньяры громко требовали провести голосование.

– Да, – вскричал Феро, – да, соберем голоса, чтоб показать всему миру людей, которые именем закона хотят губить невинных!

Собрали голоса, и неожиданно большинство объявило: 1) что будут присяжные, 2) что они будут избираемы поровну от каждого департамента и 3) утверждены Конвентом.

Только приняли эти предложения, как раздались страшные крики. Конвент уже привык к посещениям черни. Он послал спросить, чего хотят от него; ему отвечали, что это депутация от волонтеров, которая, отобедав на хлебном рынке, просит разрешения пройти перед Конвентом церемониальным маршем.

В ту же минуту распахнулись двери и явились шестьсот человек, вооруженных саблями, пистолетами и пиками, – все полупьяные. Они прошли под рукоплескания, громогласно требуя смерти изменникам.

– Да, – отвечал им Колло д, Эрбуа, – да, друзья мои, невзирая на все козни, мы спасем вас, вас и свободу!

Он говорил, глядя в сторону жирондистов, давая им понять, что они в опасности.

В самом деле, по окончании заседания Конвента депутаты Горы рассеялись по разным клубам, побежали к кордельерам и к якобинцам, предлагая лишить изменников всех законных прав и умертвить в эту же ночь.

Жена Лувэ жила на улице Сент-Оноре, поблизости от якобинцев. Услышав возгласы, она явилась в клуб, узнала о предложении и, вернувшись, поспешила предупредить своего мужа. Лувэ берет оружие, бросается из двери в дверь, чтобы предупредить своих друзей, не застаёт никого дома, но, узнав от прислуги одного из них, что они у Петьона, тотчас же отправляется туда и находит их спокойно обсуждающими какое-то предложение, которое намеревались сделать на другой день в надежде, что сумеют набрать им большинство голосов и проект пройдет. Он рассказывает им обо всем, что творится, о своих опасениях, о замыслах якобинцев и кордельеров и в заключение призывает принять какие-нибудь сильные меры.

Тогда Петьон встал, спокойный и хладнокровный, как всегда, подошел к окну, растворил его, взглянул на небо, высунул руку и, почувствовав, что ее смочило, проговорил:

– Дождь идет, нынешней ночью ничего не случится.

В это полурастворенное окно донеслись последние удары пробивших на башне 10 часов.

Итак, вот что случилось в Париже накануне и в этот самый день; вот что происходило вечером 10 марта, вот почему в этой влажной темноте, в этом грозном безмолвии дома, чье предназначение быть кровом для живых, подернулись каким-то мраком, оцепенели и походили на склепы.

В самом деле, многочисленные патрули национальной гвардии с ружьями наготове, толпы граждан, наскоро вооруженных чем попало, теснились чуть ли не у каждого ворот, у растворенных входов в аллеи, блуждали в ту ночь по городу. Чувство самосохранения вселяло каждому мысль, что замышлялось что-то необъяснимое и ужасное.

Мелкий и холодный дождь, тот, что успокоил Петьона, усугубил дурное настроение патрулей, которые, завидев друг друга, брали ружья на изготовку, на всякий случай готовясь к бою, и, лишь настороженно, недоверчиво сблизившись, узнав друг друга, как бы нехотя обменивались паролем и отзывом, а потом, беспрестанно оглядываясь друг на друга, словно опасаясь нападения с тыла, расходились.

В этот вечер, когда Париж был под влиянием панического страха, возобновлявшегося так часто, что ему пора бы, кажется, свыкнуться с ним; в этот вечер, когда втихомолку шли переговоры об истреблении всех нерешительных революционеров, тех, кто подал голос за осуждение к смерти короля, но не решился осудить на смерть королеву, заключенную со своими детьми и свояченицей в темницу Тампля, – в этот вечер по улице Сент-Оноре кралась женщина в ситцевой лиловой с черными мушками мантилье. Голова ее была покрыта или, лучше сказать, закутана краем той же мантильи; всякий раз, когда вдали показывался патруль, она пряталась в каком-нибудь углублении ворот или за углом стены и стояла неподвижно, как истукан, затаив дыхание, пока солдаты проходили мимо, потом снова продолжала свой быстрый и тревожный бег, пока новая опасность не вынуждала ее опять прятаться и неподвижно, безмолвно выжидать.

Таким образом, благодаря своей осторожности, никем не замеченная, она пробежала часть улицы Сент-Оноре и вдруг, повернув на улицу Гренель, наткнулась не на патруль, а на компанию храбрых волонтеров, отобедавших на хлебном рынке, патриотизм которых был возбужден бесчисленными тостами, поднятыми в честь будущих побед.

Бедная женщина, вскрикнув, попыталась скрыться в улицу дю Кок.

– Эй, эй, гражданка! – вскрикнул начальник волонтеров.

Чувствовать над собой власть стало врожденной привычкой. Поэтому даже эти свирепые люди избрали себе начальника.

– Эй, куда ты?

Женщина, не отвечая, продолжала бежать.

– Готовься! – закричал начальник. – Это переодетый мужчина! Какой-нибудь скрывающийся аристократ!

Стук двух или трех ружей, беспорядочно, неумело вскинутых дрожащими руками, дал понять женщине о готовности выполнить роковую команду.

– Нет, нет! – вскричала она, тут же остановилась и пошла назад. – Нет, гражданин, ты ошибаешься, я не мужчина.

– Ну, так слушайся команды, – сказал начальник, – и говори правду. Куда ты так летишь, ночная красавица?

– Никуда, гражданин, я иду домой.

– А, ты идешь домой?

– Да.

– Для порядочной женщины поздненько возвращаешься, гражданка.

– Я иду от больной родственницы.

– Бедная кошечка, – сказал начальник, сделав такое движение рукой, что испуганная женщина отскочила. – А где ваш пропуск?

– Мой пропуск? Какой, гражданин? Что ты этим хочешь сказать и чего требуешь?
– Разве ты не читала постановление?
– Нет.
– Ну, так ты слышала, как его оглашали?
– Тоже нет! Что в этом постановлении, боже мой?
– Начать с того, что говорят не «боже мой», а «Высшее существо».
– Виновата, ошиблась. Это по старой привычке.
– Привычка аристократов.
– Постараюсь исправиться, гражданин. Но ты говорил?..
– Я говорил, что постановлением Коммуны запрещено после десяти часов вечера выходить со двора без пропуска. При тебе ли он?
– Нет.
– Ты его забыла у своей родственницы?
– Я не знала, что надо иметь этот пропуск при себе.
– Ну, так пойдем до первого караула, там ты приветливо объяснишься с капитаном, и если он останется доволен тобой, то прикажет двум солдатам проводить тебя до твоего дома, а не то оставит при себе, пока наведут подробные справки. Ну, живо, налево кругом, шагом марш!

Судя по боязливому восклицанию арестованной, начальник добровольцев понял, что бедной женщине эта мера показалась ужасной.

– Ого-го! – сказал он. – Я уверен, что в наших руках какая-то знатная дичь! Ну, ну, вперед, моя красавица!

Начальник схватил арестованную под руку, невзирая на жалобные крики и слезы, и повлек к караулу дворца Эгалите.

Конвой уже находился недалеко от заставы Сержан, как вдруг молодой, высокого роста мужчина, закутанный в плащ, вышел на улицу Круа де Птишан в ту самую минуту, когда арестованная пыталась вымолить свободу. Но начальник волонтеров беспощадно тащил свою жертву, не вникая в ее слова. Женщина вскрикнула, и в этом крике отразились страх и страдание.

Молодой человек увидел эту борьбу, услышал вопль, мигом перешел с одной стороны улицы на другую и очутился перед небольшим отрядом.

– Что вы делаете с этой женщиной? – спросил он того, который казался начальником.
– Прежде чем допрашивать меня, займись-ка лучше своим делом. Это тебя не касается.
– Кто эта женщина, гражданин, и чего вы от нее хотите? – повторил молодой человек с повелительной интонацией.

– Да ты-то сам кто, чтоб нас допрашивать?

Молодой человек отвернул с плеча плащ и показал блестящие эполеты на военном мундире.

– Я офицер, – сказал он, – как видишь.

– Офицер... чего?

– Гражданской гвардии.

– Ну и что? Нам-то что до нее? – отвечал один из волонтеров. – Зачем нам знать офицеров гражданской гвардии?

– Что он мелет? – спросил другой, растягивая слова, как это делают простолюдины, когда начинают сердиться.

– Он говорит, – парировал молодой человек, – что ежели эполеты не заставят уважать офицера, то сабля заставит уважать эполеты.

И неизвестный защитник молодой женщины, отступив на шаг и высвободив из-под складок плаща широкую и надежную пехотную саблю, блеснул ею при свете фонаря, потом быст-

рым движением, показавшим привычку обращаться с оружием, схватил начальника волонтеров за ворот карманьолки и, приставив острие сабли к его горлу, сказал:

– Теперь поговорим, как два добрых приятеля.

– Да, гражданин, – сказал начальник волонтеров, пытаюсь освободиться.

– Предупреждаю, что при малейшем движении твоим или твоих людей я насквозь пропикну тебя этой саблей.

Между тем двое волонтеров продолжали держать женщину.

– Ты спрашиваешь, кто я? – продолжал молодой человек. – На это ты не имел права, потому что не командуешь патрулем гарнизона. Но это к слову. Скажу тебе, кто я. Мене зовут Морис Лендэ; я командовал батареей канониров при деле десятого августа, имею чин поручика национальной гвардии и занимаю пост секретаря в секции Братьев и Друзей. Довольно тебе этого?

– Эх, гражданин поручик, – отвечал начальник, чувствуя на горле острие сабли, – это дело другое. Если ты в самом деле тот, за кого себя выдаешь, значит, ты настоящий патриот.

– Я знал, что мы мигом поймем друг друга, – сказал офицер. – Теперь отвечай, о чем кричала эта женщина и что вы с ней делали?

– Мы вели ее на гауптвахту.

– А зачем вели на гауптвахту?

– Затем, что у нее нет пропуска, а по последнему приказу Комитета приказано задержать всякого, кто после десяти часов вечера попадется на улице, не имея при себе законного документа. Разве ты забыл, что отечество в опасности и что на ратуше вывешен черный флаг?

– Черный флаг развешивается на башне, и отечество в опасности, потому что двести тысяч солдат готовы вторгнуться во Францию, – возразил офицер, – а не потому, что женщина бежит по улицам Парижа после десяти часов вечера. Но постановление действительно существует, и если б вы сперва сказали мне об этом, то встреча наша была бы короткой и мирной. Хорошо быть патриотом, но не мешает быть и вежливым. Граждане должны уважать офицеров, которых они сами избирали. Теперь ведите эту женщину, если хотите, вы свободны.

– Ах, гражданин! – схватив руку Мориса, вскричала женщина, все время с беспокойством следившая за распрей. – Ах, гражданин, не оставляйте меня во власти этих грубых и полупьяных людей.

– Хорошо, – сказал Морис, – вот вам моя рука, я провожу вас до караула.

– До караула? – с ужасом повторила женщина. – За что же вести меня туда, если я никому зла не причинила?

– Вас ведут в караул, – сказал Морис, – не потому, что вы причинили зло, не потому, что считали вас способной сделать его, но потому, что постановление Комитета запрещает выходить без пропуска, а у вас его нет.

– Но я этого не знала, сударь.

– Гражданка, в карауле добрые люди, которые будут с вами вежливы, с вниманием выслушают ваши оправдания. Вам нечего их бояться.

– Я уже не боюсь оскорблений, сударь, – сказала молодая женщина, сжимая руку офицера, – я боюсь смерти; если меня отведут в караул, я погибла.

II. Незнакомка

Эти слова были произнесены с таким отчаянием и силой, что Морис невольно вздрогнул. Проникновенные звуки этого голоса с силой электрического разряда отдались в глубине его сердца.

Он обернулся к волонтерам, которые совещались между собой. Стыдясь того, что один человек мог нагнать на них столько страха, они рассуждали, как бы выбраться из этого положения. Их было восемь против одного. Трое имели ружья, остальные пики и пистолеты. У Мориса была лишь сабля. Бой был бы неравным.

Даже женщина поняла это; опустив голову на грудь, она тяжело вздохнула.

Что касается Мориса, он, насунив брови и презрительно сжав губы, стоял с обнаженной саблей в двойственном положении человека, которому чувства повелевают защитить женщину, а обязанности гражданина приказывают ее выдать.

Вдруг в конце улицы, как молния, блеснули штыки и послышались мерные шаги патруля, который, увидев скопище, остановился в десяти шагах, и голос капрала прокричал:

– Кто идет?

– Друг! – вскричал Морис. – Иди сюда, Лорен!

Тот, к кому обращался этот отзыв, быстро приблизился.

– А, это Морис! – произнес капрал. – Что ты, повеса, делаешь в эти часы на улице?

– Ты видишь, я только что вышел от Братьев и Друзей.

– Да, чтоб перейти в отделение сестер и приятельниц. Понимаю.

В час туманной ночи,
Только что луна
Взглянет тебе в очи,
Будь ты у окна.
Друг придет твой нежный
Скромною стопой.
Ручкой белоснежной
Дверь ему открой.

Вроде того, и так далее, не так ли?

– Нет, дружище, ты ошибаешься. Я шел прямо домой, как вдруг увидел, что гражданка вырывается из рук этих граждан волонтеров; я побежал узнать, что она сделала и за что ее ведут под стражей.

– Ну, так узнаю тебя в этом деле, – сказал Лорен. – «Французских рыцарей вот истинная доблесть!»

Потом обратился к волонтерам.

– А за что вы арестовали эту женщину? – спросил поэтический капрал.

– Мы уже объяснили поручику, – отвечал начальник отряда, – за то, что у нее нет пропуска.

– Ну! – подхватил Лорен. – Вот так важное преступление!

– Стало быть, ты не знаешь постановления, гражданин? – спросил начальник волонтеров.

– Знаю, знаю!.. Да есть и другое, которое уничтожает первое.

– А какое?

– Вот это:

Бог любви всем объявляет,

Что какой бы ни был час,
Он прекрасным позволяет
Обольщать без спросу нас!

– Ну, что ты скажешь об этом постановлении, гражданин? И правильно и убедительно.
– Так, но оно еще не принято. Во-первых, не помещено в «Мониторе»; к тому же мы не на Пинде и не на Парнасе. Наконец, гражданка может быть немолода и нехороша.

– Бьюсь об заклад, что все это у нее есть! – сказал Лорен. – Гражданка, докажи, что я прав, скинь свое покрывало и предоставь судить всякому, подходишь ли ты под это постановление.

– Ах, сударь, – промолвила молодая женщина, прижимаясь к Морису, – вы защитили меня от ваших неприятелей, теперь защитите от ваших друзей.

– Смотрите, пожалуйста, – сказал начальник волонтеров. – Она же прячется! Мне кажется, что она или сума переносная, или искательница ночных приключений.

– О сударь, – отвечала молодая женщина, показав при свете фонаря лицо обворожительной красоты и свежести. – Взгляните на меня, похожа ли я хоть на одну из тех, которых здесь называли?

Морис был ослеплен. Еще никогда, даже во сне, не видел он подобной красоты. Незнакомка так же быстро опустила мантилью, как и подняла ее.

– Лорен, – прошептал Морис, – требуй выдачи арестантки, чтоб препроводить ее к твоему посту, ты на это имеешь полное право как начальник патруля.

– Понимаю, – промолвил молодой капрал, – мне достаточно намекнуть.

Затем, обратясь к незнакомке.

– Идемте, идемте, красавица, – продолжал он, – так как вы не хотите доказать нам, что подходите под это постановление, делать нечего, ступайте за нами.

– Как «ступайте за нами»? – подхватил начальник волонтеров.

– Да так, мы отведем гражданку к городскому замку, где наше караульное помещение, а там соберут о ней справки.

– Нет, – ответил начальник отряда, – она наша и должна быть под нашим присмотром.

– Эх, гражданин, гражданин, – сказал Лорен, – ведь мы того и гляди поссоримся.

– Сердитесь или не сердитесь, черт вас возьми, нам все равно. Мы истинные солдаты республики, и пока вы ходите дозором по улицам, мы идем проливать кровь за границей.

– Берегитесь, чтобы не пролить ее на пути, граждане, а это может случиться, если вы не решитесь быть повежливее.

– Вежливость есть добродетель аристократов, а мы санкюлоты, – отвечали волонтеры.

– Хватит, – сказал Лорен. – При дамах о таких вещах не говорят. Она, может быть, англичанка. Не сердись за мое предположение, моя ночная пташечка, – прибавил он, приветливо обратясь к незнакомке, – так сказал один:

Из поэтов из известных,
А я вторю без труда,
Англия страна прелестна
Средь огромного пруда.

– А ты сам себе изменяешь, – сказал начальник волонтеров. – Ага, ты сам же сознаешься, что принадлежишь к числу сторонников Питта, агентов Англии.

– Тише, – сказал Лорен, – тебе чужд язык поэзии, и я вынужден говорить с тобой прозой. Слушай, мы, национальная гвардия, скромны, терпеливы, но все дети Парижа. Если кто затронет нас, с лихвой отплатим.

– Сударыня, – сказал Морис, – вы видите, что происходит, и догадываетесь, что будет дальше. Минут через пять десять или двенадцать человек перережут за вас. Стоит ли дело, за которое берутся ваши защитники, того, чтобы пролилась кровь?

– О милостивый государь, – отвечала незнакомка, всплеснув руками, – одно только могу сказать вам: если вы допустите, что меня арестуют, это погубит не только меня, но и многих других, и если вы намерены меня покинуть, то умоляю вас оружием, что в руках ваших, оборвите мою жизнь и бросьте в Сену мой труп.

– В таком случае, – отвечал Морис, – я все беру на себя.

И, выпустив руку прекрасной незнакомки, сказал:

– Граждане, как офицер ваш, как патриот, как француз, приказываю вам защитить эту женщину. А ты, Лорен, если эта каналья снова разинет рот, прими его в штыки.

– Оружие на изготовку! – скомандовал Лорен.

– Боже мой, боже мой! – вскрикнула незнакомка, закрывая лицо мантилей и прислоняясь к столбу. – Боже мой! Сохрани его.

Волонтеры попытались обороняться; один даже выстрелил из пистолета и пробил шляпу Мориса.

– К бою! – скомандовал Лорен. – Тара-рах, тах-тах!

В крошечной темноте началась борьба, более напоминавшая страшную толчею. Раздались даже два залпа из огнестрельного оружия, по улице понеслись проклятия, крики, ругательства. Но никто из жителей не являлся на этот шум, ибо, как мы уже сказали, по городу носились слухи о возможной резне, и горожане, видимо, решили – началось... Два или три окна приоткрылись и тут же заперлись.

Добровольцев было меньше, и вооружены они были хуже. Они не выдержали боя; двое были тяжело ранены, а остальные приперты штыками к стене.

– Вот так-то, – сказал Лорен, – надеюсь, что вы теперь будете кроткими, как ягнята. Что касается тебя, гражданин Морис, поручаю тебе отвести эту женщину на гауптвахту городского замка. Ты понимаешь, что на тебе теперь вся ответственность.

– Да, – отвечал Морис.

Потом шепотом добавил:

– А пароль?

– Ай, чертовщина, – сказал Лорен, почесывая себе ухо, – пароль... видишь ли...

– Может, ты боишься, что я употреблю его во зло?

– Э, черт возьми, делай с ним что хочешь!

– Стало быть, назовешь? – подхватил Морис.

– Сию минуту передам его тебе, только дай разделаться с этими штукарями. Но прежде чем расстаться, я очень рад буду дать тебе добрый совет.

– Ладно, я подожду.

Лорен отправился к своим национальным гвардейцам, которые все еще держали волонтеров в почтительных позах.

– Ну, теперь довольно ли с вас? – спросил он.

– Да, жирондистская собака! – отвечал начальник.

– Ошибаешься, мой милый, – спокойно возразил Лорен, – мы тоже санкюлоты, да еще почище тебя, ибо принадлежим к клубу Фермопилов, у которого никто не оспорит любовь к отечеству. Не беспокойтесь, – продолжал он. – В нас уже не сомневаются.

– А как ни говорите, если это подозрительная женщина...

– Если бы она была такой, то давно бы во время суматохи наострила лыжи, вместо того, чтобы тут дожидаться, как ты видишь, развязки.

– Да, – сказал один из добровольцев, – похоже на правду то, что сказал гражданин Фермопил.

– А, впрочем, мы это разузнаем. Приятель мой отведет ее в караул, а мы пока пойдем выпьем за здоровье нации.

– Пойдем выпьем, – повторил начальник.

– Конечно, у меня ужасная жажда, и я знаю один знатный питейный дом на углу улицы Тома дю Лувр.

– Вон ты какой! Давно бы тебе это сказать, гражданин. Мы сожалеем, что усомнились в твоём патриотизме, и в доказательство во имя нации и закона обнимемся.

– Обнимемся, – сказал Лорен.

И волонтеры иступленно стали целоваться с национальной стражей. В то время обнимали и убивали друг друга одинаково легко.

– Идемте, друзья, – гаркнули оба отряда, – на угол улицы Тома дю Лувр!

– А с нами что будет? – жалобно возопили раненые. – Неужели нас оставите?

– Как это можно, – сказал Лорен, – покинуть храбрых, которые пали за отечество, как истинные патриоты, сражаясь с себе подобными, правда, по ошибке! Конечно, сию же минуту вам пришлем носилки, а пока пойте Марсельезу, это вас развлечет.

Вперед, вперед, дети отчизны!

Нашей славы день настал!

Потом подошел к Морису, который стоял подле незнакомки в конце улицы, между тем как национальные гвардейцы и волонтеры, сплетя руки, тянулись по площади дворца Эгалите.

– Морис, – сказал Лорен – я обещал дать тебе совет. Вот он. Пойдем-ка лучше с нами, чем подвергаться пересудам, защищая эту гражданку, которая, правду сказать, прекрасна, на мой взгляд, но тем более заслуживает подозрения, ибо все женщины, которые за полночь шатаются по улицам Парижа, все они ведь прекрасны.

– Милостивый государь, – сказала женщина, – не судите обо мне по внешности, умоляю вас.

– Во-первых, вы говорите «милостивый государь». Это большая ошибка. Слышишь ли, гражданка? Тыфу, пропасть, да и сам я, вместо того чтобы сказать «ты», сказал «вы».

– Ну да, да, гражданин, дай уж твоему приятелю довершить доброе дело.

– Каким образом?

– Проводить меня домой.

– Морис, Морис, – сказал Лорен, – подумай, что ты делаешь. О тебе пойдут страшные сплетни.

– Я это знаю, – отвечал молодой человек, – но как я могу оставить эту бедную женщину? В любой момент дозорные снова остановят ее.

– О да, точно, с вами же, сударь, с тобою же, гражданин, хотела я сказать, я спасена.

– Ты слышишь, спасена! – сказал Лорен. – Стало быть, она подвергается большим опасностям.

– Послушай, любезный Лорен, – сказал Морис, – будем справедливы. Она или истинная патриотка, или аристократка. Если она аристократка, то нам не следовало ей покровительствовать; если же патриотка, обязанность наша охранять ее.

– Извини, извини, любезный друг, но твоя логика бессмысленна. Ты, как тот, который сказал:

Ириса унесла мой разум
И просит мудрости моей.

– Постой, Лорен, – сказал Морис, – оставь в стороне логику, поговорим серьезно. Дашь ты мне пароль или нет?

– Но ты ставишь меня перед выбором: жертвовать долгом ради друга или пожертвовать другом во имя долга?

– Решайся, мой друг, на то или другое, но ради бога скорей.

– Точно ли ты не используешь пароль во зло?

– Уверяю тебя.

– Этого мало... поклянись!

– Да перед чем?

– Перед Жертвенником Отчизны!

Лорен, сняв шляпу, подал ее Морису кокардой вперед, и Морис, хотя и понимал, что это очень простодушно, все же без улыбки произнес клятву на импровизированном жертвеннике.

– Теперь, – сказал Лорен, – вот пароль – «Галлия и Лютеция!» Может быть, многие скажут тебе, как и мне: «Галлия и Лукреция»; ничего, пропускай без задержки: и та и другая римлянки.

– Гражданка, – сказал Морис, – теперь я к вашим услугам. Спасибо, Лорен.

– В добрый путь, – сказал Лорен, надевая на голову Жертвенник Отчизны; и, верный своему анакреонтическому вкусу, удалился, напевая.

III. Улица Фоссе-Сен-Виктор

Морис, оставшись с молодой женщиной наедине, был в большом затруднении. Боязнь оказаться обманутым, обворожительность этой дивной красоты, какое-то безотчетное угрызение совести восторженного республиканца удерживали его от того, чтобы тотчас подать руку молодой женщине.

– Куда вы идете, гражданка? – спросил он.

– Ах, очень далеко, сударь, – отвечала она.

– Однако как?..

– К Ботаническому саду.

– Хорошо, идемте.

– Боже мой, сударь, – сказала незнакомка, – я вижу, что обременяю вас, но если бы не случившееся со мной несчастье и если бы я просто боялась, то никогда бы не воспользовалась вашим великодушием.

– Что об этом говорить, сударыня, – сказал Морис, забыв в беседе своей с глазу на глаз предписанный республикой язык и обратившись к ней как благовоспитанный человек. – Скажите по совести, как это случилось вам так запоздать? Посмотрите, есть ли, кроме нас, хоть одна живая душа?

– Я сказала вам, сударь, что была у знакомых в предместье Руль. Отправившись в полдень, в неведении о том, что происходит, я возвращалась, также ничего не зная, потому что все время провела в одном уединенном доме.

– Да, – проговорил Морис, – в каком-нибудь приюте преждебывших, в вертепе аристократов. Признайтесь, гражданка, что, умоляя меня о покровительстве, вы внутренне смеетесь над моей простотой.

– Я! – воскликнула она. – Как это возможно?

– Разумеется. Вы видите республиканца, служащего вам проводником. Этот республиканец изменяет своему долгу, вот и все.

– Но, гражданин, – живо подхватила незнакомка, – вы заблуждаетесь, я так же, как и вы, предана республике.

– В таком случае, если вы истинная патриотка, гражданка, то вам нечего скрывать. Откуда вы шли?

– О сударь, будьте милосердны! – сказала незнакомка.

В этом слове «сударь» отразилась такая нежная, глубокая скромность, что Морис по своему понял ее чувства.

«Нет сомнения, – подумал он, – что эта женщина возвращается с любовного свидания».

И сам не понимая почему, ощутил сильное стеснение в груди.

С этой минуты он шел молча.

Ночные путники добрались до улицы Веррери, встретив по дороге три или четыре патруля, которые, впрочем, благодаря паролю дали им свободно пройти. Но офицер последнего дозора выказал некоторое упорство.

Тогда Морис счел нужным кроме пароля сообщить свое имя и домашний адрес.

– Так, – сказал офицер, – это относится к тебе, а гражданка?

– Гражданка?

– Кто она такая?

– Она... сестра моей жены.

Офицер пропустил их.

– Стало быть, вы женаты, сударь? – проговорила незнакомка.

– Нет, сударыня, а что?

– В таком случае, – сказала она, смеясь, – вам проще было бы сказать, что я ваша жена.

– Сударыня, – сказал, в свою очередь, Морис, – звание жены священно, это звание не должно употреблять без разбора: я не имею чести вас знать.

Тут и незнакомка почувствовала, что сердце ее сжалось. Теперь замолкла она.

Тем временем они перешли Мариинский мост. Молодая женщина ускорила шаги по мере приближения к своему жилищу.

Прошли и Турнельский мост.

– Вот мы, кажется, и в вашем квартале, – сказал Морис, ступив на набережную Сен-Бернар.

– Да, гражданин, – сказала незнакомка, – и здесь больше всего нужна ваша помощь.

– Странно, сударыня, вы мне приказываете быть скромным, а между тем все делаете, чтобы возбудить мое любопытство. Это невеликодушно. Удостоите меня хоть малейшего доверия. Я, кажется, заслужил его. Не окажете ли вы мне честь сказать, с кем я говорю?

– Вы говорите, сударь, – подхватила незнакомка, улыбаясь, – с женщиной, избавленной вами от величайшей опасности, которой она когда-либо подвергалась, с женщиной, которая на всю жизнь останется вам признательной.

– Это слишком много, сударыня. Я не заслуживаю столь продолжительной благодарности; довольно бы одного мгновения, за которое вы произнесли бы ваше имя.

– Невозможно.

– Но вы бы назвали его первому офицеру, которому вас сдали бы под стражу.

– Никогда! – вскрикнула незнакомка.

– Тогда вас отправили бы в тюрьму.

– Я готова на все.

– Но тюрьма в нынешние времена...

– Эшафот, я это знаю.

– И вы предпочли бы эшафот?

– Измене... Сказать свое имя – значит изменить!

– Не говорил ли я вам, что вы меня... республиканца, заставляете разыгрывать странную роль.

– Вы играете роль великодушного человека. Вы подаете руку помощи обиженной женщине, не презирая ее, хотя она простого звания. А так как она снова могла подвергнуться оскорблению, вы провожаете ее домой в одну из самых запустелых частей города и тем спасаете от гибели. Вот и все.

– Да, вы были бы правы, и я мог бы вам поверить, если бы не видел вас, не говорил бы с вами. Но ваша красота, ваша речь выдают знатную женщину; эта знатность, несовместимая с вашим одеянием, с этим нищенским кварталом, даже само ваше путешествие в эти часы заставляют меня подозревать тайну... Вы молчите... Не станем более говорить об этом. Далеко ли нам до вашего дома, сударыня?

В это время они вступали с улицы Сены на улицу Фоссе-сен-Виктор.

– Видите ли это небольшое черное строение? – сказала незнакомка, указывая рукой на один из домов за забором Ботанического сада. – Там вы меня оставите.

– Слушаю, сударыня, приказывайте, я здесь для того, чтобы вам повиноваться.

– Вы сердитесь?

– Нисколько. Впрочем, что вам до того?

– Для меня это очень важно, у меня к вам еще одна просьба?

– Какая?

– Я желаю проститься с вами со всей искренностью и добросердечием... проститься как с другом.

– Проститься как с другом много чести для меня, сударыня. Странен тот друг, который не знает имени своего друга и от которого этот друг скрывает, где он живет, конечно, чтобы избежать скуки новой встречи.

Молодая женщина опустила голову и ни слова не ответила.

– Впрочем, сударыня, – продолжал Морис, – если я коснулся какой-то тайны, не сетуйте на меня, я ее не искал.

– Вот мы и пришли, сударь, – сказала незнакомка.

Они находились против старой улицы Сен-Жак, окаймленной высокими черными домами, уходили в глубину темные аллеи и переулки, занятые кожевниками и их мастерскими. Здесь рядом протекает небольшая речка Бевре.

– Здесь? – спросил Морис. – Как, вы здесь живете?

– Да.

– Не может быть!

– Однако это так. Прощайте! Прощайте, мой храбрый кавалер. Прощайте, мой великодушный защитник!

– По крайней мере, скажите ради моего спокойствия, что вам уже более не угрожает опасность!

– Нет, не угрожает.

– Тогда я удаляюсь.

И, отступив на два шага, Морис холодно поклонился.

Незнакомка не трогалась с места.

– Однако я не желаю так расстаться с вами, – сказала она. – Гражданин Морис, вашу руку.

Морис протянул ее и тотчас почувствовал, что молодая женщина надевает перстень на его палец.

– Ого-го, гражданка, что вы делаете? Вы не замечаете, что теряете один из своих перстней.

– О сударь, – сказала она, – это дурно с вашей стороны.

– Мне как раз еще не хватало порока – быть неблагодарным, сударыня?

– Послушайте, умоляю вас, сударь... друг мой. Не расставайтесь со мной так холодно. Скажите, что вы хотите, что вам надо?

– Какой платы, не так ли? – скрепя сердце произнес молодой человек.

– Нет, – сказала незнакомка с очаровательным выражением, – нет, чтобы вы простили тайну, которую я вынуждена сохранить.

Морис, видя в темноте отблеск ее прекрасных глаз, увлажненных слезами, чувствуя в своей руке ее трепещущую, горячую ладонь, слыша звуки почти молитвенно звучащего голоса, вдруг сменил гнев на чувство восторга.

– Что мне нужно? – вскричал он. – Мне нужно еще и еще видеть вас.

– Это невозможно.

– Хоть однажды, на час, на минуту, на секунду!

– Невозможно, повторяю вам.

– Как? – спросил Морис. – Вы серьезно говорите, что я никогда вас не увижу?

– Никогда! – раздался голос незнакомки, как скорбное эхо.

– О сударыня, – сказал Морис, – вы смеетесь надо мной.

Тут он приподнял голову, тряхнув своими длинными волосами, подобно человеку, сбрасывающему с себя чары, которым невольно покорился.

Незнакомка смотрела на него с неизъяснимым выражением. Заметно было, что и она не чужда была того чувства, которое сама внушала.

– Послушайте, – сказала она после непродолжительного молчания, прерванного лишь невольным вздохом, который тщетно старалась заглушить, – послушайте, Морис, поклянетесь

ли вы своей честью, что закроете глаза и не откроете, пока не сосчитаете шестьдесят секунд...
Даете слово чести?

– А если я поклянусь, что случится со мной?

– Случится то, что я докажу вам свою признательность так, как никому еще не доказывала, хотя отплатить вам чем-то большим, что вы для меня сделали, очень трудно.

– Однако нельзя ли знать?..

– Нет. Доверьтесь мне, и вы узнаете.

– Признаюсь вам, сударыня, я не знаю, ангел вы или демон!

– Клянетесь ли вы?

– Извольте... клянусь.

– Что бы ни случилось с вами, вы не откроете глаз, что бы ни случилось, понимаете ли вы? Если б даже почувствовали удар кинжала.

– Вы изумляете меня вашим требованием, клянусь вам.

– Да клянитесь же, сударь, вы, кажется, ничему тут не подвергаетесь.

– Хорошо, клянусь, что бы ни случилось со мной... – сказал Морис, закрывая глаза.

Он остановился.

– Дайте мне еще, еще раз взглянуть на вас, – сказал он. – Умоляю вас!

Молодая женщина не без кокетства подняла мантилью, и при свете луны, скользившей в это время между облаками, он увидел во второй раз ее длинные, завитые кольцами волосы, черные, как смоль, брови и ресницы, будто нарисованные китайской тушью, два темных, как бархат, глаза, изящный носик и уста, свежие и блестящие, как коралл.

– О, как вы хороши, как вы прекрасны, бесподобны! – вскричал Морис.

– Закройте глаза, – сказала незнакомка.

Морис повиновался.

Молодая женщина схватила его за руки и повернула. Он вдруг ощутил благовонную теплоту, которая, казалось, все ближе и ближе двигалась к его лицу, и нежные уста, слившись с его устами, оставили между губ его тот перстень, от которого он отказался.

Это чувство было быстрым, как мысль, жгучим, как пламя. Морис ощутил что-то похожее на боль, так оно было неожиданно, непонятно, так сильно отдалось в глубине сердца, так потрясло самые глубокие тайники его души.

Он сделал внезапное движение и протянул руки.

– А ваша клятва, – произнес уже удалившийся голос.

Морис через силу прикрыл глаза пальцами, чтобы победить искушение нарушить клятву. Он не считал секунды, он ни о чем не думал и стоял молча, неподвижно.

Минуту спустя он услышал как бы скрип затворяемой двери в пятидесяти или шестидесяти шагах от него, и снова все погрузилось в тишину.

Тут он отнял руку, открыл глаза, оглянулся вокруг, как человек, пробудившийся ото сна, а может быть, и подумал бы, не сон ли в самом деле все, что случилось, если бы губы его не сжимали перстень, доказывавший, что все необыкновенное действительно случилось с ним.

IV. Нравы времени

Когда Морис Лендэ очнулся и взглянул вокруг, он увидел лишь глухие и темные переулки, которые тянулись вправо и влево от него. Он пытался как-то сориентироваться в этой глуши, но его рассудок был в смятении; ночь была темна, луна, выглянувшая на мгновение, чтобы осветить прелестное лицо незнакомки, снова скрылась за облака. Молодой человек, после ужасной минуты недоумения, побрел к своему дому, находившемуся на улице Руль.

Достигнув улицы Сент-Авуа, Морис удивился множеству патрулей, разъезжавших в квартале Тампля.

– Что тут случилось, сержант? – спросил он начальника одного из патрулей, очень занятого и только что сделавшего осмотр на улице Фонтен.

– Что случилось? – повторил сержант. – А вот что, господин офицер. Нынешней ночью хотели похитить жену Капета и все ее семейство.

– Кто же?

– Патруль из аристократов, как-то узнавший пароль, пробрался в Тампль в мундирах национальной гвардии и намеревался их увести. К счастью, тот, кто исполнял роль капрала, назвал караульного офицера «сударь»; аристократ сам себя выдал!

– Черт возьми! – сказал Морис. – А задержали злоумышленников?

– Нет, патруль сумел выбраться на улицу, а там и след его простыл.

– А есть ли надежда поймать всех этих молодцов?

– О, достаточно было бы схватить их главаря, высокого, сухощавого... который втерся между гвардейцами муниципальной стражи. Уж заставил же он нас побегать за собой, разбойник! Вероятно, он пробрался через задние двери и бежал переулком Маделонет.

В других обстоятельствах Морис на всю ночь остался бы с патриотами, оберегавшими благоденствие республики. Но уже с час любовь к отечеству перестала быть его единственной мыслью. Итак, он продолжал свой путь. Новость мало-помалу рассеивалась в его мыслях, все больше заслонялись события, случившиеся с ним. К тому же эти мнимые попытки похищения стали так часты, что сами патриоты поняли – кое-кто начал их использовать как политическое средство. Так что новость несколько не потревожила молодого республиканца.

Вернувшись домой, Морис застал своего служащего, – в эту эпоху не было слуг, – спящим; ожидая его, тот во сне громко храпел.

Он разбудил его со всей внимательностью, которую должно иметь к себе подобному, велел снять с себя сапоги и отпустил спать, чтоб служащий не отвлек его мысли. Лег в постель и, так как было уже поздно, то, в свою очередь, несмотря на тревожные мысли, заснул спокойно – сном молодости.

Утром он увидел письмо на ночном столике.

Оно было написано мелким, красивым и незнакомым ему почерком. Он взглянул на печать, на ней было вырезано лишь одно английское слово, служившее девизом: «Nothing» – «Ничего».

Он распечатал письмо; в нем были эти слова:

«Благодарю!

Вечная признательность взамен вечного забвения».

Морис позвал слугу. Истинные патриоты не заставляли их являться по звонку – звонок напоминал рабство; к тому же многие из «служащих», вступая в должность, оговаривали это условие.

Служащий Мориса за тридцать лет до того получил при святом крещении имя Жан, но в 92 году взял и раскрестился; имя Жан пахивало аристократизмом и деизмом; он назвал себя Сцеволой.

- Сцевола, – спросил Морис, – не знаешь ли ты, что это за письмо?
- Нет, гражданин.
- Кто тебе его передал?
- Привратник.
- А ему кто принес?
- Конечно, посыльный; на нем нет штемпеля.
- Спустись к привратнику и попроси его сюда.

Привратник поднялся по лестнице лишь потому, что его позвал Морис, которого любили все служащие, с которыми он общался, но заявил, однако, что если б позвал его любой из жильцов, то он попросил бы того самого спуститься к нему.

Привратника звали Аристид.

Морис расспросил его. Выяснил, что письмо было принесено около 8 часов утра человеком, ему неизвестным. Напрасно молодой человек задавал все новые вопросы, пытаясь хоть что-то еще выудить из привратника, тот ничего больше не смог добавить. Морис попросил его принять десять франков и в случае, если неизвестный опять явится, незаметно проследить за ним, вызнать, где тот живет, а потом прийти и рассказать об этом.

Поспешим добавить, что, к величайшему удовольствию Аристида, несколько оскорбленного предложением следить за себе подобным, незнакомец больше не возвращался.

Морис, оставшись один, с досадой смял письмо, снял с пальца перстень, положил его возле измятого письма на стол, повернулся к стене с безумной надеждою снова заснуть, но не прошло часа, как он очнулся от своего притворства, стал целовать перстень и перечитывать письмо. Перстень был с дорогим сапфиром. А письмо было, как мы уже сказали, небольшой записочкой, на расстоянии благоухавшей аристократией.

Пока Морис предавался созерцанию, отворилась дверь. Молодой человек поспешно надел перстень, а записочку сунул под подушку. Была ли это скромность возрастающей любви или стыдливость патриота, который не хочет, чтоб знали о его общении с людьми, довольно неосторожно позволившими себе написать подобную записку, одно лишь благоухание которой могло выдать и руку писавшего и адресата.

В комнату вошел молодой человек в одежде патриота, но патриота, изысканного в своем наряде. На нем была тонкого сукна карманьолка, казимировая сорочка и узорчатые шелковые чулки. Что же касается его фригийской шапочки, она устыдила бы самого Париса своей изящной формой и ярким багровым цветом.

Сверх того за поясом его торчала пара пистолетов бывшей королевской версальской фабрики и прямая коротенькая сабля, как у воспитанников военного училища.

- А, ты спишь, Брут, – сказал вошедший, – а отечество в опасности. Не стыдно ли?!
- Нет, Лорен, – со смехом отвечал Морис, – я не сплю, а мечтаю.
- Да, понимаю.
- А я так ровно ничего.
- Как же! А прекрасная Евхариса?
- О ком ты говоришь?
- Ну, та женщина!
- Какая?
- Женщина с улицы Сент-Оноре, наткнувшаяся на патруль, одним словом, та неизвестная, за которую мы вчера вечером чуть не расплатились головами.
- Ах да, – сказал Морис, который очень хорошо понимал, о чем хотел поговорить его друг, но прикидывался непонимающим, – та незнакомка!
- Ну кто же она?
- Не знаю.
- Хороша собой?

- Ну!.. – сказал Морис, презрительно сморщив губы.
- Какая-нибудь бедняжка, забывшаяся в любовном свидании.

...Какие слабые создания!..

Везде, всегда любовь – вот в чем наши мечтанья.

– Может быть, – проговорил Морис, которому эта мысль показалась сейчас до того отвратительной, что он лучше желал бы видеть незнакомку бунтовщицей, нежели влюбленной.

– А где она живет?

– Не знаю.

– Ну, полно, пожалуйста, ты не знаешь... Этого быть не может.

– Почему?

– Ведь ты ее провожал?

– Она ушла от меня на Мариинском мосту.

– Ушла от тебя! – вскрикнул Лорен со смехом. – Чтоб женщина так отделалась от тебя?

Когда же голубь сизокрылый
Спасть от ястреба умел?
Когда же кролик тупорылый
Пред диким волком не робел?

– Лорен, – сказал Морис, – приучишься ли ты когда-нибудь говорить так, как все? Меня дрожь пробирает от твоей ужасной поэзии.

– Как! Говорить, как все? Мне кажется, что я говорю лучше всех! Я говорю, как гражданин Дюмурье, – и прозой и стихами. Что касается моей поэзии, любезный, я знаю одну Эмилию, которая находит, что она не совсем дурна. Но вернемся к твоей.

– К моей поэзии?

– Нет, к твоей Эмили.

– Разве у меня есть Эмилия?

– Ну, полно, полно! Видно, твоя серна обратилась в тигрицу и показала тебе зубы, а ты хоть не рад, да влюблен.

– Я влюблен! – сказал Морис, покачав головой.

– Да, ты влюблен.

Безумен тот, кто страсть скрывает!
Кого он этим проведет?
Амур все в сердце попадает,
Юпитер промахи дает.

– Лорен, – сказал Морис и схватил ключ, который лежал на ночном столике, – объявляю тебе, что ты больше ни одного стиха не скажешь, потому что я заглушу его свистом.

– Ну, так давай поговорим о политике. Начну с того, что я затем и пришел. Знаешь ли ты новость?

– Слышал, что вдова Капета хотела улизнуть.

– Это что... пустяки.

– Что же еще?

– Знаменитый кавалер Мезон-Руж в Париже.

– В самом деле? – вскричал Морис, вскочив с постели.

– Он, собственной персоной.

– Когда же он появился?

– Вчера вечером.

– Как?

– Переодетый егерем национальной гвардии. Женщина, в которой подозревают аристократку, переодетую в простонародное платье, вынесла ему мундир за заставу. Какое-то время спустя они возвращались под руку, как ни в чем не бывало. Подозрение пробудилось в часовом только тогда, когда они уже миновали его; он вспомнил, что эта женщина прошла в первый раз с узлом и одна, а во второй – под руку с каким-то военным и без узла; это было нечисто. Он сразу подал сигнал, их пустились догонять. Но они исчезли в каком-то доме на улице Сент-Оноре, дверь которого растворилась как бы по волшебству. Этот дом имел другой выход на Елисейские Поля. Ну и прощай! Кавалера Мезон-Ружа и его сообщницы как не бывало; дом сотрут с лица земли, владелец его погибнет на эшафоте, но это не помешает кавалеру начать свою попытку, которая не удалась в первый раз, месяца четыре тому назад, а во второй раз вчера.

– И его не арестовали? – спросил Морис.

– Как же!.. Лови-ка Протея, лови его, любезный. Ты знаешь, сколько бед перенес Аристей, гоняясь за ним. «*Pastor Aristaeus fugiens Peneia tempe*»¹.

– Смотри, – сказал Морис, поднеся ключ к губам, – берегись!

– Сам ты берегись, черт возьми! На этот раз ты освищешь не меня, а Вергилия.

– Ты прав, и пока ты не будешь переводить его, я – ни слова. Но вернемся к кавалеру Мезон-Ружу.

– Да, согласимся, что он рискованный человек.

– Как ни говори, чтоб предпринимать подобные штуки, надо много смелости.

– Или пылать сильной любовью.

– Неужели ты веришь, что кавалер влюблен в королеву?

– Верить не верю, а скажу, что и все. К тому же нет ничего мудреного, что она вскружила ему голову. Ведь носился же этот слух про Барнава!

– А ведь у кавалера должны быть соучастники в самом Тампле.

– Может быть:

Любовь смеется над преградой

И над каменной оградой.

– Лорен!

– Ах, виноват!

– Стало быть, ты веришь, как и все?

– Почему бы и нет?

– По-твоему, у королевы было двести обожателей?

– Двести, триста, четыреста. На это она была хоть куда. Я не говорю, чтоб она всех их любила; но они к ней были неравнодушны. Все видят солнце, но солнце не всех видит.

– Так ты говоришь, что кавалер Мезон-Руж?..

– Я говорю, что его теперь ловят, и если он уйдет от республиканских ищеек, то он хитрая лиса.

– Что же предпринимает Коммуна?

– Она скоро издаст постановление, по которому вменено будет в обязанность прибить снаружи каждого дома список всех жильцов и жилищ. Это осуществление сновидений древних.

¹ «Тщетно пастух Аристей убежал от Пенейской долины» (лат.). – Вергилий, «Георгики», IV, 317.

Жаль, что в сердце человека нет отверстия, в которое всякий мог бы заглянуть и узнать, что в нем делается.

– О, превосходная мысль! – вскричал Морис.

– Что?.. Пробить отверстие в сердце?

– Нет... вывесить списки у ворот каждого дома.

В самом деле Морис подумал, что это средство поможет ему отыскать незнакомку или, по крайней мере, даст возможность обнаружить ее следы.

– Я уже бился об заклад, – сказал Лорен, – что эта мера доставит нам сотен пять аристократов. Кстати, сегодня утром явилась к нам в клуб депутация волонтеров, под предводительством наших супостатов прошедшей ночи, которых я оставил совершенно пьяными. Они явились с гирляндами и венками, сплетенными из васильков.

– В самом деле! – воскликнул Морис со смехом. – А сколько их было?

– Человек тридцать; они все были выбриты, у каждого букет цветов в петлице. «Граждане клуба Фермопилов, – сказал вития, – как истинные сыны отчизны мы желаем, чтоб дружба французов не была потревожена каким-нибудь недоразумением, и потому мы снова пришли побрататься».

– Тогда?..

– Тогда мы опять стали целоваться, и многократно. Сделали Жертвенник Отчизны из секретарского стола, на который поставили два графина с воткнутыми в них букетами цветов. Так как ты был герой праздника, то тебя три раза вызывали. Ты не отозвался, а так как надо было что-нибудь украсить венком, то увенчали бюст Вашингтона. Вот так совершился обряд.

Пока Лорен оканчивал свой рассказ, в котором для того времени не было ничего странного, на улице послышался шум и приближающийся барабанный бой.

– Это что такое? – спросил Морис.

– Провозглашение постановления общины, – сказал Лорен.

– Бегу в секцию! – сказал Морис, соскочил с постели и призвал своего служащего, чтобы одеться.

– А я отправлюсь спать, – сказал Лорен. – Мне этой ночью двух часов не удалось поспать благодаря твоим бешеным волонтерам. Если драка будет незначительная, не буди меня, а случится что-нибудь серьезное, то приди за мной.

– Ради кого же ты так нарядился? – спросил Морис, окинув взглядом Лорена, который встал и собрался уйти.

– Потому что по пути к тебе я прохожу улицей Бетизи, а на улице Бетизи есть на третьем этаже окно, которое открывается всякий раз, как я прохожу мимо.

– И ты не боишься, что тебя сочтут щеголем?

– Щеголем? Вот тебе на! Я известен, напротив, как самый истый санкюлот. Ведь надо чем-нибудь жертвовать ради прекрасного пола. Дань отчизне не лишает права отдавать дань любви, напротив – одно повелевает поддерживать другое.

Наше теперь правление
Дало такое повеление:
Всем служить народу,
Милых обожать,
А не обижать!

Осмелюсь это освистать, я сейчас же выдам тебя, как аристократа, и тебе так причешут затылок, что ты никогда парика не наденешь. Прощай, друг.

Лорен дружески протянул руку Морису, которую молодой секретарь так же дружески пожал, и вышел, насвистывая какую-то песню.

V. Кто вы, гражданин Морис Лендэ

Пока Морис Лендэ, поспешно одевшись, отправился на улицу Лепелетье, где он, как мы уже сказали, был секретарем секции Коммуны, попытаемся изложить для всеобщего сведения биографию этого человека, заслужившего известность одним из порывов, свойственных мощным и возвышенным сердцам.

Молодой человек, накануне отвечая за незнакомку, честно сообщил свое имя, фамилию и место жительства. Он мог бы добавить, что он дитя той полуаристократии, какой считались люди чиновного мира. Его предки более двухсот лет отличались вечной парламентской оппозицией, прославившей имена Моле и Мону. Его отец, добряк Лендэ, всю жизнь вопил против деспотизма; когда же 4 июля 1789 года Бастилия попала под власть народа, он умер от ужаса и страха, видя, что деспотизм сменило буйное своеволие, и оставил после себя единственного сына, независимого по состоянию и республиканца по взглядам.

Революция, которая быстро последовала за этим большим событием, застала Мориса зрелым, полным сил, присущих атлету, вступающему в жизнь; его республиканское образование оказалось вполне законченным благодаря усердному посещению клубов и чтению всех памфлетов текущего времени. Одному Господу известно, сколько их пришлось перечитать. Он твердо усвоил глубокое и совершенно осмысленное презрение к иерархии, философию уравновешения всех элементов, входящих в состав тела, полное отрицание всякого иного благородства, кроме личного, беспристрастно оценивал прошлое, пылко воспринимал новые идеи, любовь к народу, соединенную с самым возвышенным здравомыслием. Такова была нравственная сторона героя этого повествования, которого выбрали не сами, а дали нам газеты той эпохи.

Рост Мориса Лендэ был пять футов восемь дюймов, лет ему было двадцать пять-двадцать шесть, он был сложен как Геркулес и обладал красотой чистокровного французского типа – ясным челом, синими глазами, каштановыми выющимися волосами, розовыми щеками и белыми, как слоновая кость, зубами. Такова была его внешность.

Набросав портрет, обратимся к его социальному положению. Морис если и не богатый, то вполне независимый. Морис, носивший уважаемую и популярную фамилию, Морис, известный как человек, воспитанный в духе либерализма, а еще более как либерал по убеждению, Морис стал главарем целой отдельной партии, состоявшей из молодых мещан-патриотов. Быть может, санкюлотам он казался недостаточно пылким, а для секционеров несколько раздушенным; но первые прощали ему недостаток пыла за то, что он ломал самые толстые суковатые дубины, как простые прутья, а вторые прощали изысканность его костюма за то, что Морис добрым тычком в нос заставлял любого секционера лететь кубарем шагов на двадцать, стоило этому господину осмелиться косо взглянуть на Мориса.

Теперь ко всем вышеприведенным его достоинствам, нравственным, физическим и социальным, следует прибавить еще то, что он был при взятии Бастилии, участвовал в Версальском деле, как лев, дрался 10 августа, и действительно в тот достопамятный день он уложил на месте столько же патриотов, сколько и швейцарцев, по той причине, что равно не выносил как убийцу в карманьолке, так и врага республики в красной одежде.

Это он бросился на жерло пушки, из которой парижский артиллерист только что собрался стрелять для того, чтобы вынудить защитников замка сложить оружие и прекратить кровопролитие; он первый ворвался в Лувр через окошко, невзирая на пальбу по нему пятидесяти швейцарцев и такого же количества бывших в засаде дворян; к тому времени, как он заметил, что враги начали сдаваться, его страшная сабля уже успела рассечь более десятка мундиров; тогда, увидев, что его друзья принялись избивать пленников, которые, бросая оружие, простирали к ним руки с мольбой о пощаде, он яростно принялся рубить друзей, и это составило ему репутацию, достойную славных дней Греции и Рима.

После объявления войны Морис добровольцем отправился за границу в звании лейтенанта с 1500 первых волонтеров, которых город послал против вторгшихся неприятелей; за ними ежедневно должны были следовать такие же отряды.

В первом же сражении, под Жеманном, он был ранен пулей, которая пробила его стальные мышцы и расплющилась о кость. Представитель народа, зная Мориса, отправил его в Париж на излечение. Целый месяц Морис, страдаемый лихорадкой, томился на госпитальном одре, но январь застал его снова на ногах, занятым делами по службе. Вот каким был человек, пробиравшийся 11 марта на улицу Лепелетье. Наше повествование придает ему более блеска на фоне уже описанных подробностей бурной жизни того времени.

Около 10 часов Морис прибыл в секцию, в которой он был секретарем.

Волнение там было сильное. Следовало проголосовать представление Конвенту о разрушении замыслов жирондистов. Мориса ждали с нетерпением.

Только и было разговоров, что о возвращении кавалера Мезон-Ружа, о дерзости этого упорного злоумышленника, явившегося вторично в Париж, где, как ему было известно, за его голову назначена плата. Этому возвращению приписывали попытку, сделанную накануне в Тампле, и каждый изъявлял свое негодование и свою ненависть к изменникам и аристократам.

Но Морис, вопреки ожиданиям, был равнодушен и молчалив, искусно составил прокламацию и за три часа окончил всю работу. Потом спросил, начался ли сбор голосов, услышав утвердительный ответ, взял шляпу, вышел и побрел к улице Сент-Оноре.

Париж показался ему новым. Он увидел конец улицы Кок, где минувшей ночью прекрасная незнакомка предстала перед ним, вырывающаяся из рук солдат. Он двинулся по улице Кок до Мариинского моста, той же дорогой, которую прошел с ней, останавливаясь там, где патрули задержали их. Только теперь было 12 часов дня, и солнце, светившее во время этой прогулки, воспламеняло на каждом шагу воспоминания прошедшей ночи.

Морис, перейдя мост, пошел на улицу Виктор, как тогда называли ее.

– Бедная женщина! – проговорил Морис. – Не подумала вчера, что ночь длится не более двенадцати часов и что ее тайна не продлится дольше ночи. При свете дня я отыщу дверь, в которую она ускользнула, и, почем знать, может быть, увижу ее у какого-нибудь окна.

Тогда он вошел на старую улицу Сен-Жак, остановился в том же положении, в каком незнакомка оставила его накануне. Он на минуту закрыл глаза; безумец думал, может быть, что вчерашний поцелуй снова опалит его уста. Но они ничего не ощутили, кроме воспоминания. Правда, и воспоминание еще жгло.

Морис открыл глаза, увидел два переулка – один направо, другой налево. Они были грязны, плохо вымощены, перерезаны мостками, переброшенными через ручей. Виднелись какие-то своды из перекладин, закоулки, двадцать дверей, кое-как навешенных и полусгнивших. Это была грубая работа, нищета во всей своей наготе. Там и сям сады, обнесенные где плетнем, где частоколом, некоторые – забором. Кожи, разложенные для просушки под навесами, издавали ужасную вонь. Морис искал, обдумывал около двух часов и ничего не нашел, ничего не отгадал; десять раз углублялся он в этот лабиринт, десять раз возвращался, чтоб осмотреться, но все его попытки были тщетны, все поиски бесполезны. Следы молодой женщины, казалось, стерли дождь и туман.

«Кой черт, – молвил про себя Морис, – я, видно, во сне видел все это. Могла ли эта помойка хоть на мгновение стать убежищем для моей обворожительной волшебницы этой ночи!»

В этом суровом республиканце было более истинной поэзии, нежели в его друге, анакреоническом певце; ибо он возвратился домой, сроднившись с этой мыслью, чтобы не омрачить ослепительную красоту незнакомки. Правда, он возвратился в отчаянии.

– Прости, – сказал он, – таинственная красавица! Ты поступила со мной, как с глупцом и ребенком. В самом деле, пришла бы она сюда со мной, если бы точно жила здесь? Нет! Она

только проскользнула, как лебедь, по смрадному болоту, и неприметен след ее, как полет птицы в воздухе.

VI. Тампль

В тот же день, в тот же час, когда Морис, разочарованный, мрачный, возвращался по Турнельскому мосту, несколько муниципалов, предводимых Сантером, начальником Парижской национальной гвардии, делали строгий обыск в громадной башне Тампля, превращенной в тюрьму с 15 октября 1792 года.

Этот осмотр с особой тщательностью проводился на третьем этаже, состоявшем из трех комнат и передней.

В одной из комнат находились две женщины, одна девица и ребенок лет девяти – все в траурной одежде.

Старшей из женщин могло быть лет тридцать шесть – тридцать семь. Она сидела у стола и читала.

Вторая занималась рукоделием – ей было двадцать восемь или двадцать девять лет.

Девочке было лет четырнадцать. Она стояла около ребенка, который лежал больной, с закрытыми глазами, как будто спал, хотя вряд ли можно было заснуть при шуме, производимом муниципалами.

Одни двигали кровати, другие ворошили белье, иные, наконец, окончившие обыск, устремляли наглые взгляды на несчастных невольниц, упорно потупивших глаза – одна в книгу, другая в свою работу, третья на брата.

Старшая из женщин была высокого роста, бледна, но прекрасна. Она, казалось, полностью углубилась в чтение, хотя не вникала в смысл строк, лишь пробежала их глазами.

Тогда один из муниципалов подошел к ней, грубо вырвал книгу из ее рук и швырнул на середину комнаты.

Узница протянула руку к столу, взяла другой том и продолжала читать.

Монтаньяр так же яростно вырвал и этот том. Это движение заставило вздрогнуть сидевшую за шитьем у окна, а девушка подбежала к пленнице, обняла руками ее голову и, рыдая, прошептала:

– О, бедная, несчастная мама! – и поцеловала ее.

Тогда узница коснулась устами уха девушки, будто желая ее поцеловать, и шепнула:

– Мария, в печи есть записка, убери ее.

– Ну, ну, – сказал муниципал, оттащив девушку, – долго ли вам целоваться?

– Милостивый государь, – отвечала Мария, – разве Конвент воспрещает ласки детей и их родителей?

– Нет, но он предписывает наказывать изменников и аристократов; вот почему мы здесь допрашиваем вас. Ну-ка, Антуанетта, отвечай!

Та, к которой относились эти слова, даже не взглянула на муниципала. Она отвернулась, и легкий румянец скользнул по ее бледным щекам, поблекшим от горя, изборожденным слезами.

– Быть не может, – продолжал этот человек, – чтобы ты не знала о покушении нынешней ночью. Откуда оно?

Узница ничего не ответила.

– Говори, Антуанетта, – сказал, приблизившись к ней, Сантер, не заметив ужаса, охватившего и девушку при виде того самого человека, который 21 января утром пришел за Людовиком XVI, чтобы из Тампля увести его на эшафот. – Отвечайте. Нынешней ночью был заговор против республики; целью этого заговора было выкрасть всех вас из плена, пока злодеяние ваше еще не наказано волей народа. Скажите, знали ли вы об этом?

Мария вздрогнула от этого голоса, от которого, казалось, она удалялась, отодвигая свой стул, сколько могла. Но и она ничего не отвечала ни на этот, ни на прежние вопросы Сантера и прочих муниципалов.

– Так вы не хотите отвечать? – сказал Сантер, топнув ногой.

Пленница взяла со стола третий том.

Сантер повернулся. Зверская власть человека, под начальством которого находилось 80 тысяч солдат, который одним движением заставил грохотом барабанов заглушить голос умирающего Людовика XVI, пасовала тут перед величием несчастной пленницы. Он мог и ее отправить на эшафот, но не в силах был заставить склониться перед ним.

– А ты, Елизавета, – обратился он к другой женщине, которая оставила на время работу и сложила руки, чтобы молить не этих людей, а Бога, – будешь ли ты отвечать?

– Я не знаю, о чем вы спрашиваете, и поэтому не могу отвечать.

– Э, черт возьми! Гражданка Капет, – сказал нетерпеливо Сантер, – я, кажется, довольно ясно выразился. Я говорю, что вчера была попытка выпустить вас всех отсюда и что вы должны знать виновников.

– Мы ни с кем за стенами тюрьмы не связаны, сударь, и поэтому не можем знать, что делается для нас, как и того, что делается против нас.

– Ладно, – сказал муниципал, – посмотрим, что скажет твой племянник.

И он подошел к постели юного дофина.

При этой угрозе Мария-Антуанетта вдруг встала.

– Мой сын болен и спит, сударь, – сказала она... – Не будите его.

– Так отвечай!

– Я ничего не знаю.

Муниципал подошел к постели юного принца, который притворился, как мы сказали, спящим.

– Ну, ну, вставай, Капет, – сказал он, грубо потрянув его.

Ребенок открыл глаза и улыбнулся.

Тогда муниципалы окружили его кровать.

Королева, объятая страданием и страхом, подала знак своей дочери, которая, воспользовавшись этой минутой, скользнула в соседнюю комнату, отворила заслонку, вынула из печки записку и сожгла ее, затем вернулась в комнату и взглядом успокоила свою мать.

– Чего вы хотите от меня? – спросил ребенок.

– Узнать, не слыхал ли ты чего ночью?

– Ничего, я спал.

– Ты очень любишь спать, кажется?

– Да, когда я сплю, мне снится.

– А что тебе снится?

– Я вижу отца моего, которого вы убили.

– Так ты ничего не слыхал? – живо произнес Сантер.

– Ничего.

– Эти волчата удивительно согласны с волчицей, – сказал негодующе муниципал. – Вы как хотите, а заговор есть.

Королева улыбнулась.

– Она еще смеется над нами, австриячка! – вскричал муниципал. – Постой же! Раз так, исполним со всей точностью приказ Коммуны. Вставай, Капет!

– Что вы хотите делать? – в самозабвении вскрикнула королева. – Разве вы не видите, что сын мой болен, что у него лихорадка? Вы хотите его уморить?

– Твой сын, – сказал муниципал, – есть непрестанный предмет тревоги Тампльского совета. Он цель всех заговорщиков. Всех вас надеются спасти. Пусть попробуют. Тизон!.. Пошлите сюда Тизона!

Тизон был сторож, отвечавший за все хозяйство тюрьмы. Он явился.

Это был человек лет сорока, смугловатый. В лице его было что-то грубое и дикое. У него были черные кудрявые волосы, нависшие на брови.

– Тизон, – сказал Сантер, – кто приносил вчера пищу заключенным?

Тизон произнес какое-то имя.

– А кто приносил им белье?

– Моя дочь.

– Стало быть, твоя дочь прачка?

– Разумеется.

– И ты ей предоставил работу на арестантов?

– Почему бы и нет? Пусть лучше ей достается плата за работу, чем другим. Теперь деньги идут от нации, потому что за них платит нация.

– Тебе приказано осматривать белье как можно строже.

– Ну и что? Разве я не исполняю свои обязанности? Вчера на одном из платков было завязано два узла; я в ту же минуту доложил об этом совету, который приказал моей жене развязать узлы, разгладить платок и отдать его мадам Капет, ни слова не говоря о том.

При упоминании о двух узлах, сделанных на одном из платков, королева вздрогнула, зрачки ее расширились, и она обменялась взглядом с принцессой Елизаветой.

– Тизон, – сказал Сантер, – твоя дочь такая гражданка, которую никто не подозревает в измене, но с этого дня ей запрещается входить в Тампльскую тюрьму.

– Боже мой, – воскликнул испуганный Тизон, – что это вы говорите! Как! Я только во время отлучек из Тампля смогу видеть мою дочь!

– Ты вовсе не будешь выходить, – сказал Сантер.

Тизон повел вокруг себя мутным взглядом, не останавливая его ни на одном предмете, и вдруг...

– Я не выйду! – вскрикнул он. – Коли так, увольте меня совсем! Я подаю в отставку. Я не изменник, не аристократ, чтобы меня насильно держали в тюрьме! Я вам говорю, что хочу выйти!

– Гражданин, – сказал Сантер, – повинуйся приказаниям Коммуны – и ни слова; или худо тебе будет, я тебе говорю. Оставайся здесь и смотри за всем, что происходит. Предупреждаю тебя, что следят и за твоими поступками.

Между тем королева, полагая, что о ней забыли, мало-помалу пришла в себя и стала поудобнее укладывать своего сына в кровати.

– Позови-ка свою жену, – сказал муниципал, обращаясь к Тизону.

Последний повиновался беспрекословно. Угрозы Сантера обратили его в ягненка.

Пришла жена Тизона.

– Пойди сюда, гражданка, – сказал Сантер. – Мы выйдем в переднюю, а ты обыщи арестанток.

– Послушай, жена, – сказал Тизон, – они не хотят пускать нашу дочь в Тампль.

– Как это! Они не хотят пускать нашу дочь? Стало быть, мы теперь не увидим ее?

Тизон покачал головой.

– Что вы тут выдумали?

– Я говорю, что мы донесем совету Тампля, и что решит совет, то и будет, а до того...

– А до того я хочу видиться с моей дочерью.

– Потихе, – сказал Сантер, – тебя призвали сюда, чтобы обыскать арестанток, так обыскавай, а там мы увидим.

– Все это так, – сказала женщина, – но все-таки...

– Ого! – вскричал Сантер, насупив брови. – Дело портится, как видно.

– Делай то, что приказывает тебе гражданин начальник; делай, женка, а после ты увидишь... Он говорит, увидишь...

И Тизон взглянул на Сантера с покорной улыбкой.

– Ладно, – сказала женщина, – ступайте, я готова их обыскать.

Они вышли.

– Милая мадам Тизон, – сказала королева, – поверьте...

– Я ничему не верю, гражданка Капет, – сказала неистовая женщина, оскалив зубы, – разве одному только, что ты причина всех несчастий народа. Уж только бы найти мне у тебя что-нибудь подозрительное, и ты увидишь!

Четыре человека остались у дверей на случай, если бы королева вздумала сопротивляться и жена Тизона потребовала бы помощи.

Начали с королевы.

Нашли у нее платок с тремя узлами, который, к несчастью, казался приготовленным ответом на узлы, найденные накануне Тизоном, карандаш, ладанку и сургуч.

– Ну, так и есть, – сказала жена Тизона, – что я сказывала муниципалам, то и случилось. Она пишет, австриячка! Намедни я нашла каплю сургуча на огарке, который вынесла от нее.

– Ах, сударыня, – сказала королева умоляющим голосом. – Покажите только ладанку...

– Как бы не так! – сказала женщина. – Не сжалиться ли над тобой?.. Меня не пожалели... у меня отнимают дочь.

На принцессе Елизавете и на юной принцессе Марии ничего не нашли.

Жена Тизона позвала муниципалов, которые вошли во главе с Сантером; она подала им все вещи, найденные ею у королевы; вещи эти переходили из рук в руки и сделались предметом бесконечных предположений. Особенно три узла на платке долго волновали воображение производивших обыск.

– Теперь, – сказал Сантер, – мы прочитаем тебе приговор Конвента.

– Какой приговор? – сказала королева.

– Приговор, по которому ты будешь разлучена с сыном.

– Неужели правда, что этот приговор существует?

– Да... Конвент слишком заботится о здоровье ребенка, вверенного его попечению народом, чтобы оставить сына в сообществе такой беспечной матери, как ты...

Глаза королевы засверкали как молния.

– По крайней мере, скажите, в чем меня обвиняете, лютые тигры!

– Черт возьми! Это немудрено сделать, – сказал муниципал. – Да вот...

И он произнес одно из ужаснейших обвинений, подобное тому, которым Светоний обвинил Агриппину.

– О! – воскликнула королева, встав со своего места, бледная и полная величественного негодования. – Взываю к сердцам всех матерей!

– Полно, полно, – сказал муниципал. – Все это прекрасно, но мы тут уже более двух часов; не целый же день нам здесь киснуть. Вставай-ка, Капет, и ступай за нами.

– Никогда, никогда! – воскликнула королева, бросившись между муниципалом и юным Людовиком, готовясь защитить кровать, как тигрица свое логово. – Никогда не позволю похитить моего ребенка!

– О господа! – воскликнула принцесса Елизавета, с мольбой сложив руки. – Господа, ради самого неба сжальтесь над двумя матерями!

– Говорите, – сказал Сантер, – назовите людей, сознайтесь в намерениях ваших единомышленников, объясните, что означают эти узлы, завязанные на платке, принесенном в белье дочерью Тизона, и на том, который найден в вашем кармане, тогда оставим вам вашего сына.

Взор принцессы Елизаветы, казалось, умолял королеву принести эту ужасную жертву.

Но последняя, гордо утерев слезу, которая, как светлый алмаз, повисла на кончике ее ресницы, сказала:

– Прощай, мой сын, не забывай никогда о твоём отце, который теперь на небесах, о твоей матери, которая скоро соединится с ним; читай каждый вечер и всякое утро ту молитву, которой я научила тебя. Прощай, мое дитя!

Она в последний раз обняла сына и встала, твердая и непоколебимая.

– Я ничего не знаю, господа, – произнесла она, – делайте что хотите.

Но королеве надо было больше сил, чем могло вместить сердце женщины и особенно сердце матери. Она в изнеможении упала на стул, пока уносили ребенка, который плакал и протягивал к ней ручонки, но не вскрикнул ни разу.

Дверь затворилась за муниципалами, уносившими королевское дитя, и три женщины остались одни.

Была минута молчаливого отчаяния, прерываемая только рыданиями.

Королева первая нарушила его.

– Дочь моя! – воскликнула она. – А записка?

– Я сожгла ее, как вы приказали, матушка.

– Не прочитав?

– Не прочитав.

– Прощай, последний луч надежды, – проговорила принцесса Елизавета.

– О, вы правы, вы правы, сестрица. Это страдание слишком жестоко.

Потом обратилась к дочери:

– По крайней мере, ты запомнила почерк, Мария?

– Да, матушка, немного.

Королева встала, подошла к двери, чтобы убедиться, не подглядывают ли за ней, и, вынув из волос шпильку, приблизилась к стене, выцарапала из щели лоскуток бумажки, свернутый вчетверо, и, показав его принцессе, сказала:

– Вспомни хорошенько, прежде чем отвечать, дочь моя. Почерк письма сходен с этим?

– Да, да, маменька, – воскликнула принцесса, – я его узнаю!

– Слава богу! – промолвила королева, опустившись на колени. – Если он смог написать утром – это знак, что он спасся. Благодарю тебя, Господи, благодарю тебя! Столь благородный друг достоин твоих чудес.

– О ком говорите вы, маменька? – спросила принцесса. – Кто этот друг? Назовите его имя, чтоб и я могла упоминать о нем в молитвах!

– Да, ты права, моя дочь; не забывай никогда это имя; оно принадлежит дворянину, исполненному чести и храбрости; он предан не из честолюбия, он выказал себя только в дни несчастья. Еще ни разу не случилось ему видеть королеву Франции, или, лучше сказать, никогда королева Франции не видела его, и он жертвует своей жизнью, чтобы ее защитить. Может быть, он будет награжден, как награждают ныне всякую добродетель, то есть жестокой смертью... но... если суждено ему умереть... О, там, там!.. Я возблагодарю его... Он называется...

Королева с беспокойством оглянулась и, понизив голос, произнесла:

– Его зовут кавалер де Мезон-Руж. Молитесь за него!

VII. Клятва игрока

Попытка похищения, как ни рискованна она была, потому что совершили ее без тщательной подготовки, возбуждала негодование в одних и участие в других. Достоверность этого события подтверждалась тем, что Комитет общественного спасения дознался, что около трех недель назад толпы эмигрантов вторглись со всех сторон во Францию. Очевидно было, что люди, рисковавшие своими головами, подвергали себя опасности не бесцельно; вероятнее всего, они стремились вызволить из неволи королевскую семью.

Уже по предложению члена Конвента Осселена был обнародован ужасный закон, которым присуждался к смерти всякий эмигрант, изобличенный в возвращении во Францию, всякий француз, изобличенный в намерении оставить свое отечество, всякое частное лицо, изобличенное в содействии побегу или возвращению эмигранта, попытке оставить отечество; наконец, всякий гражданин, изобличенный в укрывательстве эмигранта.

Этот ужасный закон наводил страх. Недоставало только применения его к подозреваемым.

Кавалер де Мезон-Руж был слишком деятельный и предприимчивый враг, чтоб возвращение его в Париж и появление в Тампле не вынудило предпринять строжайшие меры. Во многих домах сделаны были такие строгие обыски, каких еще не бывало. Но кроме найденных нескольких женщин-эмигранток, которые нисколько не сопротивлялись, когда их арестовали, и нескольких стариков, не оспаривавших у своих палачей ту малость дней, которую им осталось прожить, поиски ни к чему не привели.

Секции Коммуны, как должно думать, вследствие этого происшествия были очень заняты. Поэтому у секретаря отделения Лепелетье – одного из самых главных – не было времени думать о незнакомке.

Сначала, как он и решил, покинув улицу Сен-Жак, попытался все это предать забвению. Но как сказал приятель Лорен:

Чем более мыслишь позабыть,
Тем более припоминаешь.

Однако Морис ничего не сказал ему, ни в чем не сознался. Он скрыл в сердце своем все подробности приключения, в которые очень хотелось проникнуть его другу. Последний, знавший Мориса веселым и от природы откровенным парнем, теперь, видя его все время задумчивым, ищущим уединения, не сомневался, как он и говорил, что тут вмешался плутишка Купидон.

Надо заметить, что за все восемнадцать столетий во Франции не было года до такой степени мифологического, как 1793 год.

Однако кавалер не был пойман; о нем стихли слухи. Королева, ставшая вдовой, осиротевшая после потери сына, заливалась слезами, когда оставалась наедине с дочерью и сестрой.

Юный дофин, вверенный сапожнику Симону, терпел муки, которые позже, через два года, соединили его с отцом и матерью. Водворилось непродолжительное спокойствие.

Вулкан монтаньяров отдыхал, как бы накапливая силы, чтобы истребить жирондистов.

Мориса тяготила эта предгрозовая тишина; не зная, как бороться с апатией, поражавшей его тело тем больше, чем сильнее становилось чувство если не любви, то похожее на нее, он перечитывал письмо, целовал драгоценный сапфир и решил, вопреки данной себе клятве, сделать последнюю попытку, заверяя себя, что после этого уж ничего не предпримет.

Молодой человек думал об одном – отправиться в секцию Ботанического сада и там разузнать что-нибудь от секретаря, своего сотоварища. Но останавливала мысль, что его пре-

красная незнакомка замешана в каком-нибудь политическом заговоре. Мысль, что малейшая неосторожность с его стороны может бросить эту восхитительную женщину под гильотину и эта ангельская головка может пасть на эшафот, страшной дрожью проносилась по всем жилам Мориса.

Он решился довериться случаю и попытать счастья один, без всяких справок. Впрочем, план его был очень прост. Выставленные на всех дверях списки помогут навести его на первый след; потом строгие расспросы дворников должны разъяснить тайну. В качестве секретаря секции Лепелетье он вправе был чинить допросы.

Хотя Морису неизвестно было имя незнакомки, им должны были руководить разные соображения. Быть не может, чтобы имя такого очаровательного существа не согласовалось с ее внешностью; она должна носить имя какой-нибудь сильфиды, волшебницы или даже ангела – ибо при появлении ее на земле все должны были приветствовать появление существа необыкновенного.

Итак, имя должно было непременно направить его на след.

Морис натянул карманьолку темного толстого сукна, украсился красной праздничной шапкой и отправился на розыски, никого не предупредив о том.

Он держал в руке суковатую дубину, названную «конституцией», у этого оружия в могучей руке был такой же внушительный вид, как у Геркулесовой палицы. В кармане его покоилось письменное удостоверение о его должности. Все это вместе заключало в себе и опору, и поруку нравственную.

Он опять пустился по улицам Сен-Виктор, Сен-Жак, читая при свете угасающего дня все имена, написанные более или менее искусной рукой на каждой двери.

Морис подходил уже к сотому дому и, следовательно, к сотой росписи, но пока так и не встретил ничего, что бы могло навести его на след незнакомки, который он упрямо искал только в воображаемом сходстве имени и образа, как вдруг добряк-сапожник, видя выражение нетерпения на его лице, отворил дверь, вышел с ремнем и шилом и, поглядывая на Мориса поверх очков, проговорил:

– Не хочешь ли ты разузнать что-нибудь о живущих в этом доме, гражданин? – сказал он. – Так говори, я готов отвечать.

– Благодарю, гражданин, – пробормотал Морис, – я так... ищу имя одного приятеля.

– Так скажи это имя, гражданин, я всех знаю в этом квартале. Где проживает этот приятель?

– Он жил, помнится мне, на старой улице Сен-Жак, но боюсь, не переехал ли.

– Но как его звать? Мне надо же знать его имя.

Морис, удивленный неожиданным вопросом, был некоторое время в нерешительности; наконец произнес первое имя, пришедшее ему на память.

– Рене, – сказал он.

– А ремесло его?

Морис был окружен кожевными мастерскими.

– Кожевник, – сказал он.

– В таком случае, – сказал прохожий, остановившийся и смотревший на Мориса добродушно, но немного подозрительно, – надо бы спросить хозяина.

– Это так! Что правда, то правда, – сказал привратник. – Хозяева знают имена своих работников. Да вот, кстати, гражданин Диксмер. У него кожевенная фабрика да работников более пятидесяти. Он может тебе сказать...

Морис обернулся и увидел добродушного человека среднего роста, в богатой одежде, говорившей о достатке хозяина.

– Только одно скажу, как и гражданин привратник, – продолжал прохожий, – надо прежде всего знать фамилию этого друга.

– Я сказал – Рене.

– Рене имя по крещению, а я спрашиваю прозвище. Все работники у меня записаны по фамилии.

– Ну, – сказал Морис, которому эти вопросы начинали надоедать. – Прозвания его я не помню.

– Как? – сказал хозяин кожевни с улыбкой, в которой почудилось Морису больше иронии, чем было в самом деле. – Как, гражданин, ты не знаешь фамилию твоего приятеля?

– Нет.

– В таком случае ты, вероятно, его не отыщешь.

И прохожий, вежливо поклонившись Морису, отошел на несколько шагов и скрылся в одном из домов старой улицы Жак.

– В самом деле, если ты не знаешь его прозвища... – сказал привратник.

– Ну, что ж, и не знаю, – сказал Морис зло, ему хотелось ссоры, чтобы излить свое негодование и скрыть неловкость.

– Что делать, гражданин, что делать; если ты не знаешь прозвища твоего приятеля, то, вероятно, как и сказал тебе гражданин Диксмер, вряд ли его отыщешь.

И гражданин привратник, пожав плечами, ушел в свою каморку.

Морису очень хотелось поколотить привратника, но тот был стар, и это спасло его. Был бы тот лет на двадцать моложе, Морис доказал бы, что закон-то равняет всех, но сила равенства не знает.

Притом день клонился к закату, и оставалось едва несколько минут света. Он воспользовался ими, чтобы пробраться сперва в правый переулок, там в левый, осматривал каждую дверь, каждый закоулок, заглядывал через заборы, смотрел сквозь решетки, даже в замочные скважины, стучался у двери каждого пустого склада, но не получил ответа. Он истратил около двух часов на эти бесполезные поиски.

Пробило девять часов вечера. Стемнело; уже не слышно и не приметно было никакого движения в этой глухой части города, где жизнь, казалось, кончилась со светом дня.

Морис в отчаянии уже хотел удалиться, как вдруг у одного темного входа блеснул огонек. Он в одно мгновение бросился в проход, не замечая, что в то время, когда он пробирался туда, из гущи деревьев, высившихся над стеной, уже более четверти часа два любопытных глаза следили за всеми его действиями. Вдруг они исчезли за стеной.

Через несколько минут после того, как наблюдатель скрылся, три человека, выйдя из маленькой двери, пробитой в той же стене, бросились в проход, в котором был Морис, а четвертый, для большей безопасности, прикрывал вход.

Морис нашел в конце аллеи двор, в конце которого светился огонек. Он постучался в дверь убогого и уединенного домика, но при первом же ударе свет погас. Морис постучал громче, но на его призыв не было ответа, и видя, что ему решили вовсе не отвечать, понял, что стучаться бесполезно; он прошел через дверь и вернулся в аллею.

В то же время дверь дома тихо повернулась на петлях, вышли три человека и раздался свист.

Морис обернулся и увидел три тени на расстоянии двойной длины его дубинки.

В ночной темноте, в слабом отражении того света, который сквозит во мраке и к которому постепенно привыкают глаза, сверкнули синеватым отблеском три клинка.

Морис понял, что окружен. Он хотел приготовиться к защите, но проход был так тесен, что его дубинка задевала за стены. В то же мгновение сильный удар по голове ошеломил его. Это неожиданно напали четыре человека, вышедшие из двери. Семеро разом кинулись на Мориса и, несмотря на отчаянное сопротивление, сшибли его с ног, спутали ему руки и завязали глаза.

Морис не крикнул и не призвал на помощь. Сила и мужество всегда стараются защитить сами себя и даже стыдятся просить чьей-либо помощи.

Впрочем, если б Морис и крикнул, в этой глухой части города никто бы не явился на помощь.

Итак, Морис был связан и скручен, но не произнес ни малейшей жалобы.

Он сообразил, между прочим, что если ему завязали глаза, то это, конечно, не для того, чтобы сию минуту убить. В возрасте Мориса всякое промедление – надежда.

Итак, он собрал все присутствие духа и ждал.

– Кто ты такой? – спросил голос, взволнованный борьбой.

– Я человек, которого убивают, – отвечал Морис.

– Мало того – ты не останешься живым, если громко заговоришь, начнешь кричать или звать на помощь.

– Если бы я счел нужным кричать, то зачем бы молчал до сих пор?

– Готов ли ты отвечать на мои вопросы?

– Спрашивайте, а там я увижу, стоит ли отвечать.

– Кто послал тебя сюда?

– Никто.

– Ты, значит, пришел по доброй воле?

– Да.

– Лжешь.

Морис попытался освободить руки, но это было невозможно.

– Я никогда не лгу, – сказал он.

– Во всяком случае, сам ли по себе пришел или послан кем-то, ты лазутчик.

– А вы подлецы.

– Кто, мы подлецы?

– Да, вас семеро против одного и еще связанного, и вы издеваетесь над ним. Подлецы, трусы!

Это восклицание Мориса, вместо того, чтобы разозлить еще больше его противников, казалось, смягчило их. Самая дерзость доказывала, что молодой человек не был тем, за кого его принимали. Истинный шпион задрожал бы и просил пощады.

– Тут нет ничего обидного, – проговорил один из них не менее грубым, но вместе с тем более повелительным голосом. – В наши времена можно быть шпионом, нисколько не сделавшись бесчестным. Одним только рискуешь – жизнью.

– Привет тому, кто произнес эти слова. Я отвечу ему прямо и правдиво.

– Зачем вы пришли в этот квартал?

– Я искал женщину.

Недоверчивый ропот встретил это оправдание. Ропот усилился и превратился в бурю.

– Ты лжешь, – подхватил тот же голос. – Мы понимаем, о каких женщинах ты говоришь. В этом квартале таких женщин нет. Сознайся в твоём замысле, не то тебе смерть.

– Полноте, – сказал Морис. – Вы не убьете меня ради удовольствия убить человека, если только вы не настоящие разбойники.

И Морис вновь неожиданно повторил попытку высвободить руки от стягивавшей их веревки. И вдруг холодная и острая боль пронзила его грудь.

Морис невольно подался назад.

– Ага, ты это чувствуешь, – сказал один из мужчин. – Так знай же, что есть в запасе еще восемь вершков таких, как ты попробовал.

– Ну, так прикончите, – сказал Морис покорно. – По крайней мере, разом отделаетесь.

– Кто ты? Говори скорей, – сказал кроткий и вместе с тем повелительный голос.

– Вы хотите знать мое имя, что ли?

– Да, твое имя.

– Меня зовут Морис Лендэ.

– Как! – вскричал кто-то. – Морис Лендэ, бунтов... патриот! Морис Лендэ, секретарь секции Лепелетье?!

Эти слова были произнесены с таким жаром, что Морис не усомнился в их решительности. От ответа зависело – умереть или жить.

Морис не способен был на подлость; он выпрямился и с твердостью, достойной истинного спартанца, произнес:

– Да, я Морис Лендэ, да, Морис Лендэ, секретарь секции Лепелетье. Да, Морис Лендэ, патриот, революционер, якобинец. Морис Лендэ, наконец, для которого счастливейший день настанет тогда, когда он умрет за отечество!

Мертвая тишина встретила этот ответ.

Морис Лендэ выпятил грудь, ожидая ежеминутно, что приставленное к груди лезвие пронзит его насквозь.

– Правда ли это? – спросил спустя несколько минут другой голос, изменивший себе от волнения. – Полно, молодой человек, не лги.

– Залезьте в мой карман, – сказал Морис, – и вы найдете там удостоверение моей личности. Раскройте мою грудь, и, если кровь ее не залила, вы найдете две начальные буквы М и Л, вышитые на рубашке.

В то же мгновение Морис почувствовал, что он мощными руками поднят с земли. Его отнесли на недалекое расстояние. Тут он услышал, как растворилась сперва одна дверь, потом другая. Вторая была уже первой, ибо в нее едва могли протиснуться те, кто его нес.

Говор и шепот не прерывались.

«Я погиб, – подумал Морис, – они привяжут мне камень на шею и бросят в какой-нибудь омут Беuvre».

Но спустя несколько минут он почувствовал, что те, которые несли его, стали подниматься по лестнице. Лицо его ощутило теплый воздух, его посадили на стул. Двойные запоры задвинулись, и слышно было, как удалились шаги. Ему показалось, что его оставили одного. Он стал прислушиваться с напряженным вниманием человека, участь которого зависит от одного слова, и ему послышалось, что тот же самый голос, который поражал слух его своей мягкостью и решительностью, говорил другим:

– Это надо обсудить.

VIII. Женевьева

Прошла четверть часа, показавшаяся Морису вечностью. Нет ничего естественнее. Человек молод, прекрасен собой, силен, пользуется поддержкой ста преданных друзей, с которыми и с помощью которых он мечтал иногда об осуществлении великих замыслов; и вдруг он почувствовал, что в любое мгновение рискует лишиться жизни, попав в подлые сети.

Он понимал, что его заперли в какой-то комнате, но был ли он под присмотром?

Он решился на новую попытку разорвать путы; железные мышцы его напряглись, но веревка лишь еще сильнее впилась в тело, не лопнула.

Хуже всего то, что руки его были связаны за спиной и он не мог стащить с глаз повязку; если б он видел, то, может быть, сумел бы убежать.

Впрочем, все эти попытки не вызвали ни сопротивления, ни малейшего шума, из чего он заключил, что находится в комнате один.

Ноги его опирались на что-то мягкое. Это мог быть песок или земля; острый и пронзительный запах поражал обоняние и подсказывал, что вокруг него растения. Морис подумал, что он в оранжерее или вроде того. Он сделал несколько шагов, коснулся стены, повернулся, нащупал руками сельскохозяйственные инструменты и вскрикнул от радости.

С неимоверным трудом сумел он ощупать все эти инструменты один за другим. Спасение зависело от времени. Если случайность или Провидение даруют ему пять минут и если между этими инструментами найдется хоть один с острием, он спасен.

Он нашел лопатку.

Морис был так скручен, что ему стоило бесконечного труда перевернуть лопатку так, чтобы острое ребро ее было направлено вверх. Этим железом, которое прижимал к стене спиной, он перерезывал или, лучше сказать, перетирал веревку, связывавшую руки. Операция была продолжительна, железо лопаты медленно перетирало пеньку. На лбу его выступил пот; ему послышался как бы приближающийся шум шагов. Он сделал последнее решительное усилие, и полуистертая веревка лопнула.

Теперь он вскрикнул от радости. По крайней мере, ему можно защититься, и он даром не отдаст свою жизнь.

Морис сорвал повязку с глаз.

Он не ошибся. Он был не в оранжерее, а в беседке, в которой сберегались нежные деревья, неспособные зимовать на открытом воздухе.

В одном углу лежали эти садовые инструменты, один из которых оказал ему такую великую услугу. Напротив было окно. Морис выглянул в него. Оно было с решеткой, и вооруженный карабином мужчина стоял за ним на часах.

С другой стороны сада, на расстоянии почти тридцати шагов, возвышался небольшой павильон, подобный тому, в котором находился он сам. Штора была опущена, но сквозь нее виден был огонь.

Он подошел к двери и стал прислушиваться; другой караульный ходил взад и вперед за этой дверью. Шаги отдавались в его ушах.

Из коридора доносился невнятный гул голосов. Спокойный разговор перерос в спор. Морис не мог расслышать все, о чем говорилось; однако он разобрал несколько слов, и среди этих слов прозвучало: «шпион», «кинжал», «смерть».

Видимо, в глубине коридора отворилась какая-то дверь, и он теперь лучше мог все слышать.

– Да, – говорил один голос, – да, это шпион. Он разнюхал что-то и теперь, без сомнения, послан подслушать наши тайны. Освободив его, мы рискуем, что он нас выдаст.

– А его слово! – сказал другой голос.

– Его слово! Ему так же легко дать его, как и изменить. Разве он дворянин, что можно положиться на его слово?

Морис заскрежетал зубами при мысли, что есть еще люди, которые убеждены, что можно верить только слову дворянина.

– Но знает ли он наши имена, чтоб нас выдать? Нет, разумеется, он их не знает и не знает также, чем мы занимаемся, но ему известен наш адрес, и он опять придет сюда с порядочной свитой.

Вывод показался неоспоримым.

– Что же, – сказал голос, уже несколько раз поразивший Мориса своей повелительностью, – стало быть, решено?

– Да, сто раз да, и я вас не понимаю, любезный, ваше великодушие. Если бы мы попали в руки Комитета общественного спасения, посмотрели бы, как они стали бы с вами церемониться.

– Стало быть, вы настаиваете на вашем решении, господа?

– Без сомнения, надеюсь, что и вы не будете ему сопротивляться.

– На моей стороне один голос, господа. Я полагал дать ему свободу. На вашей шесть, и все шесть голосов обрекли его на смерть. Так пусть же будет ему смерть!

Капли пота, катившиеся по лицу Мориса, вдруг охладели.

– Он станет кричать, вопить, – сказал голос. – По крайней мере, удалили бы мадам Диксмер.

– Она далеко, в павильоне, и ни о чем не догадывается.

– Мадам Диксмер, – прошептал Морис. – Теперь начинаю понимать. Я нахожусь у хозяина кожанного заведения, который говорил со мной на старой улице Сен-Жак и, удаляясь, смеялся над тем, что я не сумел назвать фамилию отыскиваемого мной приятеля. Но какую, черт возьми, выгоду доставит хозяину кожанни моя смерть?

Морис огляделся вокруг и увидел железный прут с деревянной ручкой.

– Во всяком случае, – проговорил он, – прежде чем меня убьют, я убью одного из них.

И он бросился к невинному инструменту, который в его руках должен был превратиться в страшное оружие.

Потом он вернулся к двери и стал таким образом, чтоб, растворившись, она прикрыла его.

Сердце его так билось, что слышно было в тишине каждый удар.

Вдруг Морис вздрогнул. Один голос сказал:

– Послушайте меня, разбейте стекло и выстрелите в него сквозь решетку из карабина!

– О нет, нет, не надо шума, можно попасться. А, вы здесь, Диксмер. Ну, что ваша жена?

– Минуту назад я заглянул сквозь шторы, она ничего не подозревает и спокойно читает книгу.

– Диксмер, разрешите наши сомнения. Как вы полагаете, что лучше – выстрелить в него из карабина или отправить на тот свет добрым ударом кинжала?

– Лучше кинжал. Обойдемся по возможности без огнестрельного оружия.

– Ну, кинжал так кинжал.

– Идемте! – повторили разом пять или шесть голосов.

Морис был сын революции, одаренный железной силой воли, ни во что не верующей душой, каких много было в то время. Но при слове «идемте», произнесенном за дверью, единственным барьером, отделявшим его от смерти, он вспомнил о том крестном знамении, которому научила мать, заставляя его на коленях лепетать молитвы, когда он еще был ребенком.

Шаги раздавались все слышнее и вдруг стихли. В замочной скважине заскрипел ключ, и дверь медленно растворилась. В течение этой минуты Морис подумал:

«Если я потеряю время на нанесение ударов, то буду убит, но, бросившись на убийц, я их поражу внезапно, проскользну между ними, выберусь в сад, потом в переулок и тогда, может быть, спасусь».

В то же мгновение он с быстротой льва и с диким ревом, в котором слышалось больше угрозы, нежели страха, опрокинул первых двух мужчин, убежденных, что найдут свою жертву со скрученными руками и с завязанными глазами, и не ожидавших встретить подобное нападение. Он растолкал всех и в минуту отбежал футов на полсотни. Он увидел в конце коридора растворенную дверь в сад, бросился в нее, перескочил десять ступеней и, внимательно осмотревшись, побежал к калитке.

Калитка оказалась запертой двумя замками. Морис дернул запоры, хотел отворить замок, но не было ключа.

Между тем преследователи добрались до площадки лестницы и увидели свою жертву.

– Вот он! – вскрикнули они. – Стреляйте по нему, Диксмер, стреляйте!

Морис издал вопль. Сад был заперт. Он измерил глазом высоту стены; она подымалась на десять футов.

Убийцы бросились вдогонку.

Между ними и Морисом было около тридцати шагов; он оглядывался вокруг, как утопающий, жаждущий ухватиться за любую соломинку.

Павильон, штора, а за нею свет бросились ему в глаза.

Одним скачком он прыгнул к окну, ухватился за штору, сорвал ее, разбил окно, пролез в него и упал в освещенную комнату, где около камина сидела женщина и читала книгу.

Испуганная, она вскочила, вскрикнула и стала звать на помощь.

– Посторонись, Женестьева, посторонись! – закричал голос Диксмера. – Дай мне убить его!

И Морис увидел направленное в него дуло карабина.

Но женщина, взглянув на Мориса, вдруг пронзительно вскрикнула, и вместо того, чтобы посторониться, как приказывал ей муж, бросилась между ним и дулом ружья.

Это движение сосредоточило внимание Мориса на великодушном создании, первым движением которого было его защитить.

Он, в свою очередь, вскрикнул.

Эта женщина была незнакомкой, которую он так искал.

– Это вы!.. Вы!.. – вскричал он.

– Тише! – сказала она.

Потом, обратившись к убийцам, которые с разным оружием приблизились к окну, она вскричала:

– О, вы не убьете его!

– Это шпион, – произнес Диксмер, кроткое спокойное лицо которого вдруг приняло выражение решительности. – Это шпион, и он должен умереть.

– Кто? Он шпион? – сказала Женестьева. – Он шпион? Подите сюда, Диксмер. Мне стоит сказать только одно слово, и я докажу, что вы странным образом ошибаетесь.

Диксмер подошел к окну, Женестьева приблизилась к нему и, наклонившись к его уху, шепотом произнесла несколько слов.

Хозяин-кожевник живо приподнял голову.

– Он? – сказал Диксмер.

– Он самый, – отвечала Женестьева.

– Ты уверена?

Молодая женщина ничего не отвечала на этот раз, но, оборотившись к Морису, с улыбкой протянула ему руку.

Тогда черты лица Диксмера приняли странное выражение кротости и хладнокровия. Он опустил приклад карабина.

– Ну, это дело другое! – сказал он.

Потом, сделав знак товарищам, чтоб они следовали за ним, он отошел в сторону и сказал им несколько слов, после которых они удалились.

– Спрячьте этот перстень, – проговорила между тем Женестьева, – все его здесь знают.

Морис поспешно снял перстень и сунул в карман жилета. Спустя некоторое время дверь павильона распахнулась и Диксмер, уже без оружия, подошел к Морису.

– Виноват, гражданин, – сказал он. – Жалею, что не узнал прежде, скольким я вам обязан! Но жена моя, припоминая услугу, оказанную вами вечером десятого марта, забыла ваше имя. Поэтому мы не знали, с кем имели дело. Не то, поверьте мне, ни минуты не сомневались бы ни в вашей честности, ни в ваших намерениях. Итак, еще раз простите меня.

Морис был изумлен и лишь каким-то чудом сохранил спокойствие. Голова его кружилась, он готов был упасть и прислонился к камину.

– Однако, – сказал он, – за что хотели вы меня убить?

– Тут тайна, гражданин, – сказал Диксмер, – и я вверяю ее вашей чести. Я, как уже известно вам, кожевник и хозяин здешнего заведения. Большая часть кислот, употребляемых мной для выделки кож, запрещена. Контрабандистам, доставляющим мне этот товар, известно, что на них подан донос в главный совет. Видя, что вы собираете справки, я струхнул, контрабандисты еще больше меня испугались вашей красной шапки и в особенности вашего решительного взгляда; теперь, не скрою, вы были обречены на смерть.

– Я это очень хорошо знаю, – отвечал Морис, – и вы не новость открываете мне. Я слышал ваше совещание.

– Я уже просил у вас прощения, – подхватил Диксмер с трогательным простодушием. – Поймите же и то, что благодаря беспорядкам наших времен я и мой товарищ Моран скопили огромное состояние. Мы подрядились поставлять в армию ранцы, и каждый день их выделяется у нас от полутора до двух тысяч. Благодаря благодетельному порядку вещей нашего времени муниципальное правление, очень озабоченное другими проблемами, не имеет времени точно проверять наши счета; итак, надо сознаться, что мы в мутной воде рыбу удим, тем более что приготовленные материалы, которые, как я уже сказал вам, мы добываем контрабандным путем, дают нам барыш до двухсот процентов.

– Черт возьми, – сказал Морис, – мне кажется, что это довольно честный барыш, и я понимаю ваше опасение, чтоб донос с моей стороны не прекратил его; но теперь, узнав меня, вы успокоились, не так ли?

– Теперь, – сказал Диксмер, – я даже не прошу вашего честного слова.

Потом положил ему руку на плечо и устремил взгляд с двусмысленной улыбкой.

– Послушайте, – сказал он, – теперь мы, можно сказать, на дружеской ноге. Скажите, зачем вы забрели сюда, молодой человек? Само собой разумеется, – прибавил кожевник заводчик, – ежели вы захотите молчать, это в вашей воле.

– Мне кажется, я вам уже сказал, – проговорил Морис.

– Да, женщина, – сказал кожевник, – я знаю, что-то вы говорили о женщине!

– Извините меня, гражданин, – сказал Морис, – я понимаю, что должен все объяснить. Извольте видеть. Я отыскивал женщину, которая прошлым вечером под маской сказала мне, что проживает в здешнем квартале. Мне не известно ни ее имя, ни ее сословие, ни ее адрес. Знаю только одно, что я влюблен в нее, как безумный, и что она невысокого роста...

Женестьева была высокого роста.

– ...что она блондинка, что она очень осторожна!..

Женестьева была черноволосая, с большими задумчивыми глазами.

– ... Одним словом, гризетка, – продолжал Морис, – и я, желая понравиться ей, нарядился в это простонародное платье.

– Вот теперь все ясно! – сказал Диксмер, и взгляд его показал, что он искренне поверил. Женевьева покраснела и, почувствовав жар в лице, отвернулась.

– Бедный гражданин Лендэ, – со смехом сказал Диксмер, – какие ужасные минуты заставили мы вас пережить! А между тем вы последний, кому хотел бы я причинить зло; такому доброму патриоту... брату!.. Но, право же, я думал, что какой-нибудь злонамеренный воспользовался вашим именем.

– Оставим этот разговор, – сказал Морис, понявший, что уже пора расставаться, – покажите мне дорогу и забудем о случившемся.

– Показать дорогу! – вскричал Диксмер. – Вас отпустить! Нет, нет! Я или, лучше сказать, мой товарищ и я угощаем сегодня ужином добрых приятелей, которые только что хотели удивить вас. Я намерен пригласить вас поужинать с нами, чтобы вы убедились – они не настолько люты, как кажутся.

– Но, – сказал Морис вне себя от радости, что может провести еще несколько часов близ Женевьевы, – право, не знаю... можно ли мне принять... ваш...

– Как, можно ли вам принять? – сказал Диксмер. – Кажется, что можно. Все они истинные патриоты, как вы, а притом я только тогда поверю, что вы простили меня, когда вы отведаете моего хлеба и соли.

Женевьева молчала. Морис терзался.

– Я боюсь вас обеспокоить, гражданин, – проговорил молодой человек. – Этот наряд... само лицо мое... расстроенное...

Женевьева с робостью взглянула на него.

– Мы приглашаем вас от чистого сердца, – сказала она.

– С удовольствием, гражданка, – отвечал Морис, поклонившись.

– Так я пойду успокою наших собеседников, – сказал кожаный заводчик. – Погрейтесь покамест, любезный друг. Жена, займи его!

Он вышел. Морис и Женевьева остались одни.

– Ах, сударь, – сказала молодая женщина, тщетно стараясь придать своему голосу выражение упрека. – Вы изменили вашему слову.

– Как, сударыня, – вскрикнул Морис, – я вас скомпрометировал? О, в таком случае простите меня, я отсюда навсегда удалюсь.

– Боже мой, – вскрикнула она, вставая, – вы ранены в грудь, вся ваша рубашка в крови!

В самом деле, на тонкой и белой рубашке Мориса, составляющей такую разительную противоположность с его грубой одеждой, расплылось красное пятно, которое уже засохло.

– О, не беспокойтесь, сударыня, – сказал молодой человек. – Один из контрабандистов уколол меня кинжалом.

Женевьева побледнела и протянула ему руку.

– Простите меня, – проговорила она, – за все, что вам сделали. Вы мне спасли жизнь, а я чуть не стала причиной вашей смерти.

– Разве я не достаточно вознагражден тем, что отыскал вас? Надеюсь, вы ни минуты не думали, что я не вас, а кого-нибудь другого искал?

– Пойдемте со мной, – прервала Женевьева, – я вам дам чистое белье... Наши гости не должны вас видеть в таком положении... Это был бы для них слишком жестокий упрек.

– Я вам причиняю хлопоты, – со вздохом возразил Морис.

– Нисколько, я исполню долг.

И прибавила:

– И даже исполню его с удовольствием.

Тогда Женевьева отвела Мориса в просторную комнату, убранную с такой роскошью и вкусом, которых он не мог ожидать в доме кожевенного заводчика. Правда, что этот кожевник казался миллионером.

Потом она растворила все шкафы.

– Возьмите все, что вам нужно, будьте как дома.

И она удалилась.

Когда Морис вошел, он нашел Диксмера, который уже возвратился.

– Идемте, идемте за стол, ожидают только вас.

IX. Ужин

Когда Морис вошел с Диксмером и Женевьевой в столовую, находившуюся в той части строения, куда привели его сначала, ужин уже был на столе, но зал еще был пуст.

Один за другим вошли шестеро мужчин.

Все они были приятной наружности, большей частью молоды, одеты по моде тогдашнего времени; двое или трое из них были даже в карманьолках и красных шапках.

Диксмер представил им Мориса, перечисляя все его звания и качества.

Потом обратился к Морису.

– Вы видите здесь, гражданин Лендэ, – сказал он, – всех помогающих мне в торговле. Благодаря временам, в которые мы живем, благодаря нынешним порядкам, при которых сравнялись все состояния, все мы живем как равные; каждый день обед и ужин соединяют нас здесь, и я очень рад, что вам угодно разделить с нами семейную трапезу. За стол, граждане, за стол...

– А гражданин Моран, – робко произнесла Женевьева, – разве мы не подождем его?

– В самом деле! – отвечал Диксмер. – Гражданин Моран, о котором я говорил вам, гражданин Лендэ, совладелец кожевни. На нем лежит вся нравственная часть дома, если так можно выразиться; он ведает делопроизводством, в его руках касса, проверка фактур, прием и передача денег, поэтому из-за того, что занят больше всех, он иногда запаздывает. Но я велю ему сказать.

В эту минуту растворилась дверь и вошел гражданин Моран.

Это был человек невысокого роста, черноволосый, с густыми бровями, в зеленых очках, которые обычно носят люди, утомившие зрение работой. Очки эти скрывали за собой неистово сверкавшие черные глаза. По первому произнесенному им слову Морис узнал тот тихий и вместе с тем повелительный голос, который постоянно держался кротких мер в смуте, жертвой которой он оказался. На нем была темного цвета одежда с большими пуговицами, белый шелковый жилет, во время ужина он все время поправлял очень тонкие манжеты рубашки рукой, белизне и нежности которой удивлялся Морис, конечно же потому, что она принадлежала торговцу юфтяным товаром.

Сели за стол. Гражданин Моран поместился по правую, а Морис по левую сторону Женевьевы. Диксмер сел напротив жены; прочие собеседники расселись как попало за продолговатый стол.

Ужин был изысканный. Диксмер ел, как труженик, и угощал с большим простодушием. Мастеровые или те, которые казались ими, вторили ему во всем. Гражданин Моран говорил мало, ел еще меньше, почти ничего не пил и изредка смеялся. Морис, увлеченный, может быть, воспоминаниями, подсказанными его голосом, вскоре почувствовал к нему живейшее влечение; он никак не мог понять, сколько Морану лет, и это сомнение тревожило. Иногда тот казался лет сорока или сорока пяти, а иногда молодым человеком.

Диксмер, садясь за стол, счел себя обязанным объяснить собеседникам, почему посторонний допущен в их тесный круг. Он объяснил это как человек прямой, не любивший лгать. По-видимому, не много надо было, чтоб вразумить товарищей, ибо вопреки всей той неловкости, с которой приглашен был кожевником молодой человек, речь Диксмера всех удовлетворила.

Морис взглянул на него с удивлением.

«Право, – думал он, – мне кажется, что я сам себя обманываю. Тот ли это самый человек, который с огненным взором, с угрозами преследовал меня с карабином в руке и хотел убить четверть часа назад? В это время я бы счел его или за героя, или за разбойника. Черт возьми, как любовь к кожевному ремеслу меняет человека!»

Хотя Морис был занят этими наблюдениями, сердце его сильно волновали то скорбь, то радость, так что он сам не мог разгадать, в каком состоянии находится его душа. Наконец он был рядом с той незнакомкой, которую так долго искал; он не обманулся в своих догадках, она носила нежное для слуха имя. Он был в упоении, чувствуя ее близ себя, он ловил каждое ее слово, звуки голоса потрясли тайные глубины его сердца; но это сердце сокрушалось от того, что видело.

Женевьева была та же, что и в первый раз, когда он ее увидел; сновидения бурной ночи почти не изменили действительности. Это была та же изящная женщина с томным взором, с высоким челом; с ней как будто случилось то, что нередко случалось в последние годы, предшествовавшие этому достопамятному 93 году. Это была, вероятно, юная девица знатного рода, вынужденная из-за тягот, выпавших на долю дворянства, вступить в брак с разночинцем или торговцем. Диксмер казался честным человеком, он был, бесспорно, богат, обращение его с Женевьевой доказывало, что он старался устроить счастье своей жены. Но это добродушие, это богатство, эта изысканная внимательность разве могли заполнить огромное расстояние, которое существовало между женой и мужем, между юной поэтической девушкой с возвышенными чувствами, одаренной красотой, и простолюдином, посвятившим себя ремеслу, подсчету барышей? Какими же чувствами Женевьева заполняла эту пропасть? Увы, случайность подсказывала это Морису – любовью. И он должен был вернуться к прежнему мнению об этой женщине, то есть, что в тот вечер, когда он встретился с ней, она возвращалась с какого-нибудь любовного свидания.

Мысль, что Женевьева любит кого-то, терзала сердце Мориса.

Тогда он стал вздыхать, сожалея, что пришел испытать еще сильнейшую дозу того яда, что зовут любовью.

Но, внимая этому нежному, чистому, звучному голосу, вопрошая этот светлый взор, который, казалось, не страшился, что через него можно было проникнуть в ее душу, Морис возвращался к мысли, что невозможно представить подобное существо в роли обманщицы; и тогда его осадила горестная мысль, что этот стан и все остальные прелести принадлежат добряку с честной улыбкой, простодушными шутками и никогда другому принадлежать не будут.

Заговорили о политике. Иначе и быть не могло. О чем говорить в такую эпоху, когда политика примешивалась ко всему? Ее рисовали на тарелках, ею покрывали стены, о ней беспрестанно кричали и объявляли на улицах.

Вдруг один из собеседников, до сих пор молчавший, спросил о заключенных, о Тампле.

Услышав этот голос, Морис невольно вздрогнул. Он узнал любителя крайних мер, который уколол его кинжалом и потом требовал смертной казни.

Однако этот человек, честный кожевенник, как уверял Диксмер, скоро развеселил Мориса своими патриотическими высказываниями и самыми революционными принципами. Морис в известных случаях не отказался бы от сильных мер, которые в то время были в большом ходу. Он не убил бы человека, если бы тот показался ему шпионом, но зазвал бы его в сад и там, дав ему саблю, сразился с ним, как на поединке, без пощады и милости. Вот как поступил бы Морис. Но он скоро понял, что нельзя же требовать от простого кожевенника таких поступков, как от себя.

Любитель крайних мер, по-видимому, и в частной жизни не расставался с жестокой теорией, которой следовал в политических проблемах. Говоря о Тампле, он удивлялся, что надзор за пленниками поручен бессменному совету, который легко подкупить, и городским чиновникам, которых уже не раз соблазняли.

– Да, их соблазняли, – сказал гражданин Моран, – но надо сознаться, что до сих пор во всех случаях поведение городских чиновников вполне оправдало доверие к ним нации; история скажет, что не один Робеспьер заслужил прозвище бескорыстного.

– Разумеется, согласен, – отвечал любитель крайних мер, – но нелепо было бы заключить, что беда никогда не может случиться только потому, что она еще не случилась. Вот, например, национальная гвардия... Роты разных частей города поочередно направляются охранять Тампль, и при этом не делается никакого отбора. А ведь может оказаться в отряде, состоящем из двадцати или двадцати пяти человек, десятков решительных молодцов... Они выберут ночь, перережут часовых и освободят пленных.

– Ну, – сказал Морис, – ты знаешь, гражданин, что это средство очень плохое. Его хотели пустить в дело три недели или с месяц назад, и попытка не удалась.

– Правда, – возразил Моран, – но почему не удалась? Потому что один из аристократов, составлявших патруль, поступил непростительно: сказал кому-то «сударь»!

– И еще потому, – прибавил Морис, желавший доказать надежность парижской полиции, – и еще потому, что уже знали о появлении кавалера де Мезон-Ружа в Париже.

– Да... – пробормотал Диксмер.

– Разве знали, что Мезон-Руж был здесь? – хладнокровно спросил Моран. – Может быть, знали и то, как он пробрался сюда?

– Разумеется.

– Бесподобно! – сказал Моран, наклонясь вперед и всматриваясь в Мориса. – Мне бы очень хотелось знать об этом. Но вы, гражданин, должны все знать как секретарь одной из важнейших секций Парижской коммуны.

– Разумеется, – отвечал Морис, – и потому все, что скажу вам, сушая правда.

Все гости и даже Женестьева принялись слушать молодого человека с величайшим вниманием.

Морис продолжал:

– Кавалер де Мезон-Руж приехал, кажется, из Вандеи. Обычное его счастье провело через всю Францию. К Рульской заставе он подъехал днем и ждал до вечера. В девять часов вечера женщина, переодетая простой крестьянкой, вышла за заставу и вынесла ему мундир егеря национальной гвардии; минут через десять она возвратилась вместе с ним в город. Часовой, видевший ее одну, удивился появлению мужчины, поднял тревогу; караул тотчас выбежал, и преступники, видя, что дело их плохо скрылись в доме, из которого вышли на Елисейские Поля. Кажется, патруль, преданный тиранам, ждал кавалера на углу улицы Бар-дю-Бек. Все остальное вам уже известно.

– Вот что! – сказал Моран. – Очень любопытно.

– И вполне верно, – прибавил Морис.

– Да, похоже на правду; но что же случилось с женщиной?

– Исчезла!.. Не знают, ни кто, ни что она...

Товарищи гражданина Диксмера и сам гражданин Диксмер вздохнули свободнее.

Женестьева выслушала весь рассказ бледная, неподвижная и безмолвная.

– Но, – сказал гражданин Моран с обыкновенным своим хладнокровием, – кто говорил, что кавалер де Мезон-Руж был в патруле, который поднял на ноги весь Тампль?

– Один из моих друзей, дежуривший в Тампле в тот день, узнал кавалера де Мезон-Ружа.

– Так он знал его приметы?

– Нет, видел прежде.

– А каков из себя этот кавалер де Мезон-Руж? – спросил Моран спокойно.

– Человек лет тридцати пяти или шести, низенький, белокурый, лицо приятное, глаза чудные, зубы – прелесть.

Все замолчали.

– Послушайте, – начал опять Моран, – если ваш друг узнал этого кавалера де Мезон-Ружа, то почему же не арестовал?

– Во-первых, потому, что не знал о прибытии кавалера в Париж и боялся ошибиться в сходстве; а во-вторых, друг мой немного холоден и поступил так, как люди благоразумные и рассудительные; сомневаясь, он не решился действовать.

– А вы, гражданин, поступили бы не так? – спросил вдруг Диксмер, громко захохотав.

– Признаюсь, – отвечал Морис, – по-моему, лучше попасть впросак, чем выпустить такого опасного человека, как Мезон-Руж.

– Так что бы вы сделали? – спросила Женестьева.

– Что бы я сделал, гражданка?.. Я приказал бы запереть все выходы из Тампля; подошел бы прямо к патрулю, схватил бы кавалера и сказал ему: «Кавалер де Мезон-Руж, я арестую вас как изменника отечеству», а уж если бы я наложил на него руку, так, уверяю вас, он бы не вырвался.

– И что потом? – спросила Женестьева.

– Потом судили бы его и его сообщников, и ему уже отрубили бы голову, вот и все.

Женестьева вздрогнула и с трепетом взглянула на соседа.

Но гражданин Моран, казалось, не заметил этого взгляда, спокойно выпил стакан вина и сказал:

– Гражданин Лендэ прав. Так следовало бы поступить; к несчастью, этого не сделали.

– А куда же девался этот кавалер де Мезон-Руж? Что знают о нем? – спросила Женестьева.

– Ну, – пробормотал Диксмер, – он, верно, недолго раздумывая и увидев, что попытка сорвалась, тотчас удалился из Парижа.

– Может быть, выехал из Франции, – прибавил Моран.

– О нет, нет! – отвечал Морис.

– Как! Он так неблагоразумен, что решился остаться в Париже? – спросила Женестьева.

– Не двинулся с места!

Общее изумление встретило слова Мориса.

– Но это только предположение ваше, гражданин, – сказал Моран, – не более как простая догадка.

– Нет, все верно.

– Признаюсь, – сказала Женестьева, – я никак не могу поверить вашему рассказу, гражданин. Какая непростительная неосторожность!

– Вы женщина, гражданка, и поймете, что могло заставить такого человека, как кавалер де Мезон-Руж, действовать вопреки личной безопасности.

– Но что может заглушить страх, внушаемый смертью на эшафоте?

– Что? Любовь, – ответил Морис.

– Любовь! – повторила Женестьева.

– Разумеется. Неужели вы не знаете, что кавалер де Мезон-Руж влюблен в Марию-Антуанетту?

Слушатели рассмеялись недоверчиво, но тихо и принужденно. Диксмер пристально взглянул на Мориса, как бы желая разглядеть его насквозь. У Женестьевы навернулись слезы; дрожь, замеченная Морисом, пробежала по ее телу. Гражданин Моран, подносивший стакан к губам, пролил вино; его бледность испугала бы Мориса, если бы в эту минуту все внимание молодого человека не было обращено на Женестьеву.

– Вы дрожите, гражданка! – прошептал Морис.

– Не вы ли сами сказали, что я все пойму, потому что я женщина? Нас, женщин, трогает всякая преданность, как бы ни была она противна нашим правилам.

– А преданность кавалера де Мезон-Ружа, – продолжал Морис, – тем удивительнее, что он никогда не говорил с королевой.

– Послушай-ка, гражданин Лендэ, – сказал любитель крайних мер. – Мне кажется... позволь говорить откровенно... ты чересчур снисходителен к этому кавалеру...

– Милостивый государь, – отвечал Морис, употребляя, может быть, намеренно этот титул, вышедший из употребления, – я люблю людей великодушных и храбрых; но это не мешает мне сражаться с ними, когда встречаю их в рядах врагов. Не теряю надежды встретить когда-нибудь кавалера...

– И... – начала Женевьева.

– И если встречу, сражусь с ним.

Ужин кончился. Женевьева, вставая, дала понять, что пора разойтись.

В эту минуту часы начали бить.

– Полночь! – спокойно сказал Моран.

– Уже полночь! – живо повторил Морис.

– Ваше восклицание мне очень приятно, – сказал Диксмер. – Оно показывает, что вы не скучали с нами, и подает надежду, что мы снова увидимся. Вы в доме настоящего патриота и, надеюсь, скоро убедитесь, что для вас это дом друга.

Морис поклонился, повернулся к Женевьеве и спросил:

– И вы тоже позволяете мне прийти?

– Не только позволяю, но и прошу, – отвечала Женевьева с живостью. – Прощайте, гражданин.

И она вышла.

Морис простился с собеседниками; особенно раскланялся с Мораном, который очень ему понравился; пожал руку Диксмеру и вышел, ошеломленный разными событиями, волновавшими его в этот вечер, более веселый, чем печальный.

– Какая досадная встреча! – сказала Женевьева, заливаясь слезами, когда муж вошел в ее комнату.

– Ну, гражданин Морис Лендэ – известный патриот, секретарь городской секции, безукоризненный, любимый народом, – это же находка для бедного кожевенника, который скрывает контрабанду, – отвечал Диксмер с улыбкой.

– Ты так думаешь, друг мой?.. – робко спросила Женевьева.

– Я думаю, что это даст нашему дому привилегию патриотизма, наложит на него печать отличия; и полагаю, что с сегодняшнего вечера даже кавалер де Мезон-Руж мог бы жить у нас в безопасности.

Диксмер, поцеловав жену в лоб, с любовью более отцовской, чем супружеской, оставил ее в маленьком павильоне, ей принадлежавшем, и пошел в другие комнаты к гостям, которых мы уже видели у него за столом.

Х. Сапожник Симон

Наступил май; чистый воздух освежил людей, уставших дышать холодным зимним туманом, и лучи тепла и животворного солнца освещали черную стену Тампля.

У внутренних дверей, отделявших башню от сада, смеялись и курили караульные солдаты.

Но, несмотря на прекрасную погоду, несмотря на предложение пленницам выйти из башни и погулять в саду, все они отказались; со времени смерти супруга королева упорно сидела в своей комнате; она не хотела проходить мимо дверей тех комнат второго этажа, где жил король.

Если ей и случалось дышать чистым воздухом после рокового дня 21 января, то лишь когда она выходила на крышу башни; тут отверстия между зубцами были заколочены досками.

Караульные национальные гвардейцы, получив уведомление, что трем пленницам позволено погулять, прождали целый день, но те и не подумали воспользоваться разрешением.

Часов в пять из башни вышел человек и подошел к сержанту, начальнику караула.

– Ага, вот и дедушка Тизон, – сказал сержант, человек по виду очень веселый.

– Да, я сам, гражданин; я принес тебе от секретаря Мориса Лендэ, твоего друга, – он сидит там, наверху, – вот это разрешение, данное Тампльским советом моей дочери, она может сегодня вечером повидаться с матерью.

– И ты уходишь в ту самую минуту, как должна прийти дочь твоя, бессердечный отец? – спросил сержант.

– Ах, ухожу против воли, гражданин сержант. И я надеялся поцеловать дочку, которую не видал целых два месяца... хотел поцеловать крепко, как всегда отец целует дочь. Но как бы не так! Служба, проклятая служба гонит вон! Надобно отпраиваться в общину с рапортом. У ворот ждет меня извозчик с двумя жандармами... и именно в ту минуту, как должна прийти сюда моя бедная Элоиза.

– Несчастный отец! – сказал сержант.

Любовь отечества
Потушит крови глас;
Ну что за молодечество,
Когда...

– Послушай, Тизон, если найдешь рифму на «глас», так скажи мне: а то ничего на ум не приходит.

– А ты, гражданин сержант, пропусти мою дочь, когда она придет повидаться с матерью... Ведь жена моя почти умирает от того, что не видит дочери.

– Разрешение написано по форме, как следует, – отвечал сержант, в котором читатель, вероятно, уже узнал друга нашего Лорена. – Что ж тут толковать? Когда твоя дочь придет, так и пройдет.

– Спасибо, храбрый Фермопил, прощай, – сказал Тизон. И он отправился с рапортом в Коммуну, повторяя: «Как жена будет счастлива!.. Как она будет счастлива!»

– Послушай-ка, сержант, – сказал гвардеец, поглядывая вслед Тизону и слушая его последние слова, – послушай-ка, волосы дыбом становятся.

– Отчего, гражданин Дево? – спросил Лорен.

– Как отчего? – продолжал сострадательный национальный гвардеец. – Вот человек, такой грубый с виду, с железным сердцем, неумолимый сторож королевы, уходит со слезами на глазах и от радости и от горя, мечтая, что жена увидит дочь его, а он не увидит любимицы

своей!.. Не следует слишком много рассуждать об этом, сержант, потому что поистине сердцу становится больно...

– Разумеется, вот почему не рассуждает даже этот человек, а только уходит со слезами на глазах.

– О чем же ему еще думать?

– Как о чем? Да о том, что своего сына три месяца не видела та женщина, с которой он сам обходится чрезвычайно жестоко. Он не думал о ее горе; толкует только о своей печали, вот и все. Правда, женщина эта была королевой, – продолжал сержант таким насмешливым тоном, который объяснить было бы очень трудно, – а ведь с королевами никто не обязан быть столь же учтивым, как с женами помощников.

– Как бы то ни было, все это очень печально, – сказал Дево.

– Печально, но необходимо, – прибавил Лорен, – лучше всего, как ты говоришь, вовсе не рассуждать.

И он запел рассеянно:

И вот Нисета,
Томна, бледна,
Среди лужайки
Сидит одна.

Лорен не успел допеть буколический куплет, как вдруг послышался страшный шум слева от караульни. Проклятия смешивались с угрозами и воплями.

– Что там такое? – спросил Дево.

– Детский голос, – отвечал Лорен, прислушиваясь.

– В самом деле, – продолжал национальный гвардеец, – бьют какого-то мальчика. О, сюда надобно посылать только таких людей, у которых нет семьи.

– Ну, пой же! – кричал грубый пьяный голос.

И тот же голос запел, заставляя кого-то запомнить и потом повторить:

Госпожа Вето обещала
Перерезать весь Париж...

– Нет, – отвечал мальчик, – не стану петь.

– Пой, пой, тебе говорят!

И тот же голос начал снова:

Госпожа Вето обещала...

– Не стану, – твердил мальчик, – не стану, не стану!

– Ах ты мерзавец! – сказал грубый голос.

В воздухе раздался свист ремня, и мальчик протяжно застонал от боли.

– Черт возьми! – вскричал Лорен. – Подлец Симон опять бьет маленького Капета.

Иные из национальных гвардейцев пожали плечами; человека два или три попробовали улыбнуться. Дево встал.

– Я уже говорил, что отцы семейства не должны входить сюда.

Вдруг отворилась дверь, и хорошенький мальчик, преследуемый бичом своего сторожа, выбежал во двор; но едва пробежал он несколько шагов, как что-то тяжелое полетело за ним на мостовую и сильно ударило ему по ноге.

– Ай, ай, ай! – закричал мальчик.

Ноги у него подкосились, и он упал на колени.

– Принеси мне колодку, чудовище, а не то...

Мальчик встал и мотнул отрицательно головой.

– А, вот как! – закричал тот же голос. – Так погоди же, вот мы увидим, погоди!

И сапожник Симон выскочил из своей каморки, как дикий медведь из берлоги.

– Послушай-ка! – закричал Лорен, нахмутив брови. – Куда ты так бежишь, почтеннейший Симон?

– Наказать медвежонка, – отвечал сапожник.

– А за что? – спросил Лорен.

– Как за что?

– Да, за что?

– За то, что эта дрянь не хочет ни петь, как следует доброму патриоту, ни работать, как следует доброму гражданину.

– А тебе какое дело до этого? – возразил Лорен. – Разве народ поручил тебе Капета для обучения пению?

– А ты что вмешиваешься, гражданин сержант? – сказал удивленный Симон.

– Почему я вмешиваюсь? Потому что это дело касается каждого честного человека. Бесчестно честному человеку смотреть, как бьют ребенка, и не остановить такое дело.

– Да он сын тирана!

– Да ведь он ребенок!.. Ребенок не участвовал в преступлениях отца; ребенок этот ни в чем не виноват, и потому его не следует наказывать.

– А по-моему, мне его дали для того, чтобы я делал из него что мне угодно. Я хочу, чтобы он пел песню про госпожу Вето, и он будет петь.

– Но, жалкий человек, подумай, что госпожа Вето – мать этого мальчика, неужели ты захочешь, чтобы твоего сына заставили петь, что ты каналья?

– Разве я каналья? – прорычал Симон. – Ах ты аристократ проклятый!

– Нельзя ли без ругательств! – сказал Лорен. – Ведь я не Капет и меня насильно петь не заставишь.

– Прикажу арестовать тебя...

– Арестовать, в самом деле? Попробуй-ка посадить под арест меня, Фермопила.

– Хорошо, хорошо, посмотрим, чья возьмет... Эй, Капет, подними колодку и дошивай башмак или, черт возьми, берегись!..

Лорен страшно побледнел, стиснул зубы, сжал кулаки, шагнул вперед и сказал:

– А я говорю, что он не поднимет твою колодку, говорю, что он не дошьет башмак. Слышишь, мерзавец? А! На тебе висит длинная сабля, но я боюсь ее так же, как и тебя самого! Попробуй обнажи ее!

– Будь ты проклят! – закричал Симон, побледнев от бешенства.

В эту минуту во дворе показались две женщины; одна из них держала бумагу и подошла к часовому.

– Сержант, – закричал часовой, – вот дочь Тизона пришла повидаться с матерью!

– Тампльский совет позволил, пропусти, – сказал Лорен, не желая повернуть голову, чтобы Симон не воспользовался этим движением и не прибил мальчика.

Часовой пропустил женщин; но едва они поднялись на четвертую ступеньку по мрачной лестнице, как встретили Мориса Лендэ; он шел во двор.

Наступила ночь, так что было почти невозможно различить черты их лиц.

Морис остановил их.

– Кто вы, гражданки? – спросил он. – И что вам надо?

– Я София Тизон, – отвечала одна из женщин. – Мне разрешили увидеться с матерью, и я ради этого пришла сюда.

– Да, – сказал Морис, – но позволено тебе одной, гражданка.

– Я взяла с собой приятельницу, чтобы не быть одной среди солдат.

– Это прекрасно; но приятельница не пойдет с тобой.

– Как вам угодно, гражданин, – сказала София Тизон, пожимая руку своей приятельнице, которая, прижавшись к стене, казалось, была поражена удивлением и ужасом.

– Граждане часовые, – закричал Морис, приподняв голову и обращаясь к караульным, которые расставлены были на всех этажах, – пропустите гражданку Тизон; но приятельница ее не может с ней пройти. Она подождет на лестнице. Смотрите, чтобы ее не обидели.

– Слушаем, гражданин, – отвечали часовые.

– Ступайте, – сказал Морис.

Обе женщины прошли.

Морис спустился по четырем или пяти остальным ступеням и вышел во двор.

– Что тут такое, – сказал он национальным гвардейцам, – и откуда этот шум? Крики ребенка слышны даже в передней арестанток.

– А то, – сказал Симон, который привык уже к муниципалам и решил, что Морис пришел к нему на помощь, – а то, что этот изменник, этот аристократ, этот преждебывший² не дает мне бить Капета.

И он указал кулаком на Лорена.

– Да, черт возьми, я не позволяю ему это делать, – сказал Лорен. – А если ты еще раз осмелишься назвать меня изменником, аристократом или преждебывшим, то я проткну тебя саблей насквозь.

– Угрозы? – вскричал Симон. – Караул! Караул!

– Я караульный, – сказал Лорен, – поэтому не зови меня. Если я только подойду к тебе, то уничтожу.

– Ко мне, гражданин муниципал, ко мне! – закричал Симон, сильно испугавшийся Лорена.

– Сержант прав, – хладнокровно отвечал муниципал, которого Симон призвал к себе на помощь, – За что ты бьешь ребенка?

– А понимаешь ли ты, за что он его бьет, Морис? За то, что ребенок не хочет петь «мадам Вето», за то, что сын не хочет оскорблять свою мать.

– Мерзавец! – сказал Морис.

– И ты так же! – отвечал Симон. – Да я, стало быть, окружен изменниками?

– Ах, мошенник, – сказал муниципал, схватив Симона за горло и вырвав у него плетку, – подумай только доказать, что Морис Лендэ изменник!

И он изо всей силы ударил сапожника плеткой по плечу.

– Благодарю вас, сударь, – сказал ребенок, смотревший на эту сцену, – но ведь он потом выместит зло на мне.

– Поди сюда, Капет, – сказал Лорен, – поди, мое дитя. Если он еще раз тронет тебя, призови на помощь, и его накажут, этого палача. Ну, теперь ступай, маленький Капет, ступай себе.

– Зачем вы называете меня Капетом, вы, который покровительствуете мне? – сказал ребенок. – Ведь вы очень хорошо знаете, что Капет не мое имя.

– Разве это не твое имя? – сказал Лорен. – Но как же тебя зовут?

– Меня зовут Людовиком-Карлом Бурбоном. Капет – имя одного из моих предков. Я знаю историю Франции, меня учил ей мой отец.

² Преждебывший, прежний (ci-devant) – так называли тогда аристократов, в ознаменование того, что аристократия отжила свой век. – *Примеч. перев.*

– А ты хочешь учить ребенка тащить подошвы, ребенка, которого король учил истории Франции! – воскликнул Лорен. – Полно!

– О, будь спокоен, – сказал Морис, обращаясь к ребенку, – я представлю рапорт.

– Я также, – прибавил Симон. – Я скажу, между прочим, что вместо одной женщины, получившей разрешение войти в башню, вы пропустили двух.

В эту минуту в самом деле из замка выходили две женщины. Морис подбежал к ним.

– Ну что, гражданка, – сказал он, обращаясь к той, которая стояла ближе к нему, – виделась с матерью?

София Тизон прошла в ту же минуту между муниципалом и своей подругой.

– Да, гражданин, благодарю, – сказала она.

Морису хотелось взглянуть на подругу девушки или хоть услышать ее голос; но она была закутана в свою мантилью и, как видно, решила ни слова не говорить ему; даже показалось, будто она дрожит.

Этот страх возбудил подозрение в Морисе.

Он поспешно поднялся по лестнице и, войдя в первую комнату, увидел сквозь стеклянную дверь, что королева прятала в карман нечто вроде записки.

– Ого, – сказал он, – уж не подвели ли меня?

Он позвал своего товарища.

– Гражданин Агрикола, – сказал он, – войди к Марии-Антуанетте и не спускай с нее глаз.

– Э, разве?..

– Войди, говорю тебе, не теряя ни минуты, ни секунды.

Муниципал вошел к королеве.

– Позови жену Тизона, – сказал он одному из стражей национальной гвардии.

Через пять минут жена Тизона вбежала с веселым лицом.

– Я видела дочь.

– Где? – спросил Морис.

– Вот здесь, в передней.

– Хорошо. А дочь твоя не просила, чтобы ты ей дала возможность взглянуть на королеву?

– Нет!

– Она не входила к ней?

– Нет.

– А пока ты разговаривала с дочерью, никто не выходил из комнаты арестанток?

– Откуда мне знать?.. Я смотрела на дочь, которую не видела целых три месяца.

– Вспомни хорошенько...

– Ах да, кажется... припоминаю.

– Что!..

– Молодая девушка выходила.

– Мария-Тереза?

– Да.

– И разговаривала с твоей дочерью?

– Нет.

– Твоя дочь ничего ей не передавала?

– Нет.

– Она ничего с полу не поднимала?

– Кто? Моя дочь?

– Нет, дочь Марии-Антуанетты?

– Нет, поднимала платок.

– Ах, несчастная! – вскрикнул Морис.

И он бросился к веревке колокола и сильно его потряс. Это был вестовой колокол.

XI. Записка

Вбежали два дежурных муниципала, за ними следовал отряд из караула.

Двери были заперты, у каждого входа поставили по два часовых.

– Что вам угодно, сударь? – спросила королева у вошедшего в ее комнату Мориса. – Я только что хотела лечь в постель, как минут пять назад гражданин муниципал (и королева указала на Агриколу) вдруг бросился в эту комнату, не сказав, что ему угодно.

– Сударыня, – сказал Морис, поклонившись, – не товарищу моему нужны вы, а мне.

– Вам, сударь? – спросила Мария-Антуанетта, глядя на Мориса, вежливое обхождение которого внушало ей некоторую признательность. – А что вам угодно?

– Чтобы вы изволили отдать записку, которую спрятали в ту минуту, как я вошел.

Старшая дочь короля и принцесса Елизавета вздрогнули. Королева очень побледнела.

– Вы ошибаетесь, сударь, – сказала она, – я ничего не прятала.

– Врешь, австриячка! – вскрикнул Агрикола.

Морис живо положил руку на плечо своего сослуживца.

– Постой, товарищ, – сказал он, – дай мне поговорить с гражданкой. Я немного разбираюсь в судебных делах.

– Так действуй. Но, черт возьми, не щади ее!

– Вы спрятали записку, гражданка, – строго произнес Морис. – Надо отдать нам эту записку.

– Да какую записку?

– Ту, которую принесла вам дочь Тизона и которую, гражданка, дочь ваша (Морис указал на юную принцессу) подняла со своим носовым платком.

Все три женщины с испугом взглянули друг на друга.

– Да это хуже всякой тирании, сударь, – произнесла королева. – Мы женщины, женщины!

– Не будем смешивать, – твердо сказал Морис. – Мы не судьи, не палачи, мы надсмотрщики, то есть ваши же сограждане, которым поручен надзор за вами. Нам дано приказание, нарушить его – значит изменить. Гражданка, пожалуйста, отдайте спрятанную вами записку.

– Господа, – с важностью отвечала королева, – если вы надсмотрщики, ищите и не давайте нам спать эту ночь, как и всегда...

– Избави нас Бог поднять руку на женщин. Я пошлю доложить Коммуне, и мы дождемся ее приказаний: но только вы не ляжете в постель, а уснете в креслах, если вам угодно, а мы вас будем стеречь... Если на то пошло, начнем обыск.

– Что тут такое? – спросила жена Тизона, сунув в дверь свою голову истукана.

– А то, гражданка, что ты, подав руку измене, лишилась навсегда права видеть свою дочь.

– Видеть мою дочь!.. Что ты говоришь, гражданин? – спросила Тизон, еще не совсем понимая, почему не увидит больше своей дочери.

– Я говорю, что дочь твоя приходила сюда не для свидания с тобой, а чтобы доставить записку гражданке Капет и что она больше не вернется сюда.

– Но если ее не пустят сюда, так я ее не увижу! Нам запрещено выходить.

– На этот раз пеняй только на себя, ты сама виновата, – сказал Морис.

– О, – проворчала несчастная мать, – я виновата! Что ты говоришь, я виновата! Я отвечаю тебе, что ничего не было. О, если бы я только была уверена, что случилось что-нибудь, горе тебе, Антуанетта, ты мне за это дорого заплатишь!

– Не угрожай никому, – сказал Морис. – Лучше кротостью добейся того, что мы требуем; ты женщина и гражданка, Антуанетта, и как мать, надеюсь, сжалишься над матерью. Завтра возьмут твою дочь, завтра посадят ее в тюрьму... а там, ежели откроется что-нибудь, а ты знаешь, если захотят, так всегда откроют, твоя дочь пропала и ее подруга тоже.

Тизон, слушавшая Мориса с возрастающим ужасом, повернула мутный взгляд на королеву:

– Ты слышишь, Антуанетта? Моя дочь!.. Ты будешь причиной гибели моей дочери!

Королева, в свою очередь, казалась смущенной не от угроз, которые искрились в глазах ее тюремщицы, но от отчаяния, которое в них можно было прочесть.

– Подойдите сюда, мадам Тизон, – сказала она, – мне надо с вами поговорить.

– Ну нет! Нежности в сторону! – вскричал товарищ Мориса. – Мы здесь не лишние, черт возьми!.. При муниципалах, всегда все при муниципалах.

– Оставь их, гражданин Агрикола, – сказал Морис, наклонясь к уху этого человека, – что нам за дело, каким путем дойдет к нам истина.

– Ты прав, гражданин Морис, но...

– Выйдем за стеклянную дверь, гражданин Агрикола. Послушайте меня. Станем к ней спиной. Я уверен, что то лицо, которому мы окажем эту снисходительность, не заставит нас раскаиваться.

Королева слышала эти слова, умышленно сказанные. Она бросила молодому человеку признательный взгляд. Морис беспечно повернул голову и прошел за стеклянную дверь. Агрикола последовал за ним.

– Видел эту женщину? – сказал он Агриколе. – Она преступница, но она высокой и дивной души.

– Черт побери, как ты лихо говоришь, гражданин Морис! – отвечал Агрикола. – Любо послушать тебя и твоего друга Лорена. А что, ведь это ты сказал какие-то стихи?

Морис улыбнулся.

В течение этого разговора сцена, которую предвидел Морис, происходила по ту сторону стеклянной двери.

Жена Тизона подошла к королеве.

– Мадам Тизон, – сказала ей последняя, – ваше отчаяние раздирает мне душу. Я не хочу лишать вас вашего детища, это слишком тяжело. Но подумайте, исполнив требование этих людей, ваша дочь не пострадает ли так же?

– Делайте, что вам велят! – вскричала женщина.

– Сначала узнайте, в чем дело.

– В чем дело? – спросила тюремщица с диким любопытством.

– Ваша дочь пришла с подругой.

– Да, с такой же работницей, как она; ей не хотелось прийти одной, опасаясь солдат.

– Эта подруга отдала вашей дочери записку, которую та обронила; Мария, проходя, подняла ее. Эта бумажка, без сомнения, ничтожна, но люди неблагонамеренные могут истолковать ее по-своему. Не сказал ли ваш муниципал, что если захотят что найти, так отыщут?

– Дальше что? Дальше?

– Вот и все. Вы требуете, чтобы я отдала эту бумажку; вы хотите, чтобы я принесла в жертву друга. Но вместе с тем не лишу ли я вас, может быть, вашей дочери?

– Делайте, что вам велят! – кричала женщина. – Делайте, что вам велят!

– Но эта бумажка подвергает опасности вашу дочь, – сказала королева, – поймите же это!

– Моя дочь такая же настоящая патриотка, как я! – вскричала озлобленная женщина. – Благодаря Богу Тизоны довольно известны! Делайте, что вам велят!

– Боже мой, – сказала королева, – как бы я желала вас убедить.

– Мою дочь! Отдайте мне мою дочь! – перебила Тизон, топая ногами. – Отдай записку, Антуанетта, отдай!

– Вот она, сударыня!

И королева протянула несчастному созданию записку, которую та радостно приподняла над головой, крича:

– Сюда, сюда! Граждане муниципалы! Записка в моих руках. Возьмите ее и возвратите мне мою дочь!

– Вы отдаете в жертву наших друзей, сестрица? – сказала принцесса Елизавета.

– Нет, сестрица, – печально отвечала королева, – я приношу в жертву только нас. Записка никому не может повредить.

На крик Тизон Морис и его товарищ подошли к ней, и она в ту же минуту протянула им записку. Они развернули ее.

«На востоке еще сторожит друг».

Морис, едва взглянув на записку, вздрогнул. Ему знаком был этот почерк.

«О боже мой, неужели это рука Женестьеви! Нет, это невозможно. Я безумец! Нет сомнения, что сходство большое, но что может быть общего между Женестьеви и королевой?»

Он повернулся и увидел, что Мария-Антуанетта смотрит на него. Что же касается Тизон, то в ожидании своей участи она пожирала Мориса глазами.

– Ты совершила доброе дело, – сказал он Тизон. Потом обратился к королеве: – А вы, гражданка, дело похвальное!

– Ежели так, сударь, – сказала Мария-Антуанетта, – последуйте моему примеру – сожгите эту записку, и вы совершите благое дело.

– Ты шутишь, австриячка! – сказал Агрикола. – Сжечь записку, которая доставит нам, может быть, возможность накрыть целое гнездо аристократов! Нет, черт возьми, это было бы слишком глупо!

– А что, в самом деле, сожгите ее, – сказала жена Тизона. – Это может повредить моей дочери.

– Разумеется, твоей дочери и другим еще, – сказал Агрикола, взяв из рук Мориса записку, которую тот, возможно, и сжег бы, если был бы один.

Минут десять спустя записка уже лежала на присутственном столе Коммуны. Ее в ту же минуту прочли, и начались разные толки, – «На востоке еще сторожит друг», – произнес голос. – Что за дьявольщина! Какой тут смысл?

– Понятно, – отозвался какой-то географ. – На востоке. Это ясно. Восток называется также Лориан. А Лориан небольшой городок в Бретани, лежащий между Ванном и Кемпером. Черт побери, следовало бы сжечь город, если правда, что в нем есть аристократы, которые желают еще вызволить австриячку.

– Это тем более опасно, – сказал другой, – что Лориан приморский город – можно сообщаться с Англией.

– Я предлагаю, – сказал третий, – отправить в Лориан комиссию и там произвести розыск.

Меньшая часть улыбнулась этому предложению, но большинство воспламенилось, решили послать комиссию в Лориан для наблюдения за аристократами.

Морис был извещен о постановлении.

«Я подозреваю, где восток, о котором говорится, – подумал Морис. – Но уж, конечно, не в Бретани».

На другой день королева, которая, как мы уже сказали, не спускалась в сад, чтоб не проходить мимо комнат, где был заключен ее супруг, просила позволения взойти с дочерью и принцессой Елизаветой на башню подышать воздухом.

Просьба ее в ту же минуту была исполнена; но за ней последовал Морис, и, остановившись за надстройкой вроде будочки, к которой примыкала лестница, безмолвно дожидаясь объяснения записки, перехваченной накануне.

Сначала королева прохаживалась без цели с принцессой Елизаветой и дочерью; потом, отстав, она остановилась, обернулась на восток и стала внимательно смотреть на один дом, в окнах которого показались несколько лиц. Чья-то рука держала белый платок.

Морис вынул из кармана подзорную трубу, но, пока ее наводил, королева сделала движение, как бы увещевая любопытных отойти от окна. Морис успел приметить бледного белокурого мужчину, поклон которого был почтителен до унижения.

За этим молодым человеком – ибо он казался не старше двадцати пяти – двадцати шести лет – стояла женщина, наполовину им заслоненная. Морис навел на нее подзорную трубу, ему показалось, что это была Женестьева, сделавшая движение, которое ее напоминало. В ту же минуту женщина, также державшая подзорную трубу поспешно отступила от окна, увлекая за собой молодого человека. Была ли это в самом деле Женестьева? Узнала ли она Мориса? Отошла ли эта чета любопытных по одному только предупреждению королевы?

Морис постоял несколько минут в ожидании, не покажутся ли снова у окна молодой человек и молодая женщина. Но, видя, что окно пустое, он поручил строжайшее наблюдение своему товарищу Агриколе; сам же поспешно сошел с лестницы, побежал на улицу Портфуан и остановился на углу, предполагая, что те люди выйдут из дома. Ожидание было напрасным, никто не появился.

Тогда, не сумев преодолеть подозрение, которое щемило ему сердце с той минуты, как подруга дочери Тизон упорно закрывалась и безмолвствовала, Морис бросился на старую улицу Сен-Жак и прибежал туда, волнуемый самыми страшными догадками.

Когда он вошел, Женестьева в белом пеньюаре сидела в жасминовой беседке, куда ей обычно подавали завтрак. Она сказала привычное приветствие Морису и пригласила выпить с ней чашку шоколада.

Вскоре вошел Диксмер, который выказал особенную радость видеть Мориса в столь неожиданное время дня. И пока Морис не взял еще чашку шоколада, которую ему предложили, кожевник, гордившийся своей работой и успешной торговлей, упросил друга взглянуть на мастерские; Морис согласился.

– Узнайте, любезный Морис, – сказал Диксмер, ухватив молодого человека под руку и увлекая его, – узнайте одну очень важную новость.

– Политическую? – спросил Морис, погруженный в свои мысли.

– Э, любезный гражданин, – отвечал Диксмер улыбаясь, – когда нашему брату заниматься политикой?.. Нет, новость относительно промышленности. Благодаря Богу почтенный друг мой Моран, который, как вам известно, знаменитейшей химик, нашел секрет, как делать алый сафьян, такой, которого до сих пор еще не видавали, то есть невыцветающий. Этот способ крашения хочу показать вам. Притом вы увидите Морана за работой. Вот это настоящий художник!

Морис не постигал, как можно попасть в художники, занимаясь окраской сафьяна. Несмотря на это, он принял предложение, последовал за Диксмером, прошел по мастерским и, войдя в отдельную рабочую комнату, увидел гражданина Морана за делом; на нем были очки с зелеными стеклами, рабочая куртка: он казался как нельзя более увлеченным процессом превращения в алый цвет грязно-белой бараньей шкуры. Рукава рубашки были засучены по локоть, а руки в пунцовой краске. Он всем сердцем и всей душой, как говорил Диксмер, был погружен в работу.

Моран кивнул молодому человеку.

– Ну, гражданин Моран, – спросил Диксмер, – что мы скажем?

– А то, что мы выручим сто тысяч ливров в год только благодаря этому способу крашения, – сказал Моран. – Но вот уже более недели, как я не сплю. Мне сожгло глаза кислотами.

Морис оставил Диксмера с Мораном и отправился к Женестьеве, думая про себя: «Надо сознаться, что можно одуреть от ремесла муниципала. Пробыв всего неделю в Тампле, сочтешь себя за аристократа и сам выдашь себя как изменника. Добрый Диксмер! Благородный Моран! Очаровательная Женестьева! И я посмел их подозревать!»

Женевьева дождалась Мориса с кроткой улыбкой, чтобы не оставить в нем даже следов подозрения, которые у него возникли. Она была, как всегда, мила, приветлива и очаровательна.

Истинное существование Мориса продолжалось лишь в те часы, которые он проводил у Женевьевы. Остальное время его пожирала лихорадка, которую по всей справедливости можно бы назвать лихорадкой 93 года, разделившей Париж на два лагеря и превратившей жизнь в ежечасную борьбу.

Около двенадцати часов Морис должен был, однако, оставить Женевьеву и возвратиться в Тампль.

В конце улицы Сент-Авуа он встретил Лорена, сменившегося с караула. Тот, отделясь от своего отряда, подошел к Морису, на лице которого отражалось все еще счастье, которое вливалось в его сердце присутствием Женевьевы.

– А, – сказал Лорен, дружески пожав руку своего друга.

Тревоги сердца ты не скроешь,
Твои желания известны;
Безмолвен ты, а все вздыхаешь
И наяву ты видишь сны!

Морис сунул руку в карман, чтобы достать ключ. Это было придуманное им средство свистом избавлять себя от поэтического вдохновения своего друга. Но тот, заметив это движение, удалился со смехом.

– Кстати, Морис, – сказал Лорен, отойдя на несколько шагов, – ты еще три дня будешь держать караул в Тампле! Поручаю тебе маленького Капета.

ХII. Любовь

И точно, Морис был очень счастлив и одновременно очень несчастлив с некоторых пор. Так всегда бывает в начале сильной страсти.

Утренние заседания в своей секции, вечерние посещения старой улицы Сен-Жак, случайные явления в клубе Фермопилов заполняли все дни.

Он сознавал, что видеть Женевьеву каждый вечер – то же, что питать любовь безо всякой надежды.

Женевьева была одна из тех женщин, робких и на первый взгляд уступчивых, которые со всей искренностью протягивают руку дружбе и с невинной доверчивостью сестры и девы приближают чело к устам, но слова любви кажутся для них насмешкой, а плотское желание преступлением.

Если бы в порыве чистейшего вдохновения несравненная кисть Рафаэля решила изобразить на полотне Мадонну с улыбкой на устах, со светлым взором, отражающим небо, дивный ученик Перуджино мог бы взять за образец черты Женевьевы.

Среди цветов, полных свежести и благоухания, чуждая занятиям своего мужа и чуждая даже самому мужу, Женевьева всякий раз, как видел ее Морис, представлялась ему живой загадкой, смысла которой он не мог доискаться и не смел спросить.

Однажды вечером, когда он, как обычно, беседовал с нею наедине и оба они сидели у того окна, в которое он влезал когда-то ночью с такой быстротой и шумом, когда благоухание распустившейся сирени разносилось по теплему воздуху после роскошного заката солнца, Морис после продолжительного молчаливого наблюдения за благоговейным и внимательным взглядом Женевьевы, пристально взиравшей на блестящую серебристую звездочку в лазури неба, отважился спросить ее, как это случилось, что она так молода, а муж ее уже миновал средние лета жизни, что она так образованна, в то время как все указывало в муже на его грубое воспитание и низкое происхождение; что она так исполнена поэзии, наконец, а ее муж занимается тщательным взвешиванием, растягиванием и окраской кож на своей фабрикe?

– Как могли попасть к кожевеннику, – сказал Морис, – эта арфа, это фортепиано, эти рисунки, над которыми вы трудились? К чему, наконец, весь этот аристократизм, который я ненавижу у других и нахожу уместным у вас?

Женевьева устремила на Мориса взгляд, полный кротости.

– Благодарю вас, – сказала она, – за этот вопрос, он доказывает, что вы очень деликатный человек и что вы никогда обо мне ни у кого не спрашивали.

– Никогда, сударыня, – сказал Морис. – У меня есть преданный друг, готовый умереть за меня, сто товарищей, которые пойдут всюду, куда я их поведу, но из всех этих сердец, когда дело идет о женщине, особенно о такой, как Женевьева, я знаю лишь одно, на которое могу положиться, – это мое собственное.

– Благодарю вас, Морис, – сказала молодая женщина. – В таком случае я сама расскажу вам то, что вы желаете знать.

– Ваше происхождение прежде всего? – спросил Морис. – Я вас знал только под именем вашего мужа.

Женевьева почувствовала в этом вопросе весь эгоизм любви и улыбнулась.

– Женевьева дю Трельи! – сказала она.

Морис повторил:

– Женевьева дю Трельи?

– Родители мои, – продолжала Женевьева, – разорились в последнюю войну в Америке, в которой отец мой и старший брат приняли участие.

– Оба дворяне? – спросил Морис.

– Нет, нет, – покраснев, отвечала Женевьева.

– Однако вы сказали мне, что до замужества вашего вы назывались Женевьева дю Трельи.

– Без частицы³, гражданин Морис. Мои родители были очень богаты, но не принадлежали к дворянскому роду.

– Вы не доверяете мне, – сказал молодой человек.

– О, совсем нет, – прервала Женевьева. – В Америке отец мой подружился с отцом гражданина Морана, а Диксмер был поверенным в делах Морана. Видя состояние наше расстроенным и зная, что у гражданина Диксмера было независимое положение, гражданин Моран представил его моему отцу, который, в свою очередь, познакомил его со мной. Я догадывалась, что тут устраивается брак; я поняла, что это желание моих родителей. Сердце мое еще не было занято ни тогда, ни прежде, и я согласилась. Уже три года как я замужем за Диксмером и должна сказать, все это время муж мой до того был добр, обходителен со мной, что, невзирая на эту разницу в возрасте и вкусах, которую вы заметили, я никогда не ощутила минуты сожаления.

– Но когда вы вышли замуж за гражданина Диксмера, – сказал Морис, – он еще не был хозяином этого заведения?

– Нет, мы жили тогда на Блуа. После десятого августа Диксмер купил этот дом вместе с мастерскими; чтоб работники меня не беспокоили и чтобы избавить меня даже от созерцания предметов, которые могли бы оскорбить, как вы выражаетесь, Морис, мое аристократическое зрение, он отвел мне этот павильон. В нем я живу одна уединенно, согласно моим вкусам, моим желаниям и счастлива, когда такой друг, как вы, Морис, навещаете меня, чтобы рассеять или разделить мои мечтания.

И Женевьева протянула Морису руку, которую он с жаром поцеловал.

Женевьева слегка покраснела.

– Теперь, друг мой, – сказала она, отнимая руку, – вы знаете, как я стала женой Диксмера.

– Да, – ответил Морис, всматриваясь в Женевьеву, – но вы не сказали мне, как гражданин Моран сделался товарищем гражданина Диксмера.

– О, очень просто, – отвечала Женевьева. – Диксмер, как я уже сказала вам, имел состояние, но недостаточное, чтобы одному поддерживать такое значительное производство, какое ведется на этой фабрике. Сын его покровителя Морана, друга моего отца, дал половину капитала, и, хорошо зная химию, сам увлекся этой промышленностью и той работой, которую вы видели, и благодаря ему торговля Диксмера, взявшего на себя всю материальную часть этого дела, приняла огромный оборот.

– Но, – сказал Морис, – и гражданин Моран также в числе ваших друзей, не правда ли, сударыня?

– Моран человек благородной души и одарен возвышенными чувствами, которые когда-либо встречались на земле, – серьезно отвечала Женевьева.

– Если единственное доказательство, – сказал Морис, несколько обиженный той оценкой, которую молодая женщина дала товарищу ее мужа, – в том, что он помог господину Диксмеру приобрести эти мастерские и изобрел новое средство окраски сафьяна, то позвольте заметить, что похвала ваша слишком преувеличена.

– Он дал мне другие доказательства, сударь, – сказала Женевьева.

– Но он еще молод, не правда ли? – спросил Морис. – Хотя трудно за очками определить, сколько ему лет.

– Ему тридцать пять лет.

– Давно вы знаете друг друга?

– С детства.

³ Частица «де» и «дю» перед фамилией французов, как «фон» у немцев, указывает на дворянское происхождение.

Морис закусил губу, он всегда подозревал Морана в любви к Женеьеве.

– Так, – сказал он, – это объясняет его фамильярность с вами.

– Соблюдаемую в границах, в которых вы его всегда видели, сударь, – с улыбкой отвечала Женеьева. – Мне кажется, что фамильярность эта свойственна другу и не нуждается в объяснении.

– Ах, извините меня, сударыня, вы знаете, что всем сильным страстям сопутствует ревность, и дружба моя была завистлива к той, которой вы одариваете гражданина Морана.

Он замолчал. Женеьева тоже хранила молчание. В этот день о Моране больше не вспоминали, и Морис ушел от Женеьевы влюбленнее, чем когда-либо, что доказывалось его ревностью.

Притом, как бы ни был ослеплен молодой человек, какая бы ни была повязка на его глазах, какое бы смущение ни вселила ему страсть в сердце, в рассказах Женеьевы заметно было столько пропусков, запинок, утаек, на которые в ту минуту он не обратил внимания, но которые впоследствии пришли ему на ум и страстно мучили. К тому же его не могло не беспокоить, что Моран был волен разговаривать с Женеьевой так часто и так продолжительно, как ему хотелось, а также и уединение, в котором оба они оставались всякий раз по вечерам. Скажем более, Морис, став ежедневным гостем, не только был совершенно свободен с Женеьевой, которая охранялась своей ангельской чистотой от всех покушений молодого человека, но он даже сопровождал ее в небольших отлучках, которые молодая женщина вынуждена была делать иногда из дому.

Хотя в этом доме с ним общались по-дружески, его все же удивляло то, что чем больше искал он (правда, может быть, и для того, чтобы проще было наблюдать за чувствами, которые он подозревал у Морана и Женеьевы) близкого знакомства с Мораном, который умом своим, несмотря на предубеждение Мориса, нравился ему больше других, этот странный человек, казалось, сам не хотел сближаться с Морисом. И он горько жаловался на это Женеьеве, не сомневаясь, что Моран угадал в нем соперника и что ревность заставляет его удаляться от него.

– Гражданин Моран ненавидит меня, – сказал однажды он Женеьеве.

– Вас, – отвечала Женеьева, смотря на него с удивлением, – вас ненавидит Моран?

– Да, я в этом уверен.

– А за что ему вас ненавидеть?

– Угодно ли, чтобы я сказал, за что? – вскричал Морис.

– Разумеется, – ответила Женеьева.

– Извольте! За то, что...

Морис остановился. Он чуть было не сказал: за то, что я вас люблю.

– Я не могу вам сказать, за что, – закончил Морис, покраснев.

Свирепый республиканец был робок рядом с Женеьевой и смущался, как молодая девушка.

Женеьева улыбнулась.

– Скажите лучше, – продолжала она, – что между вами нет взаимной симпатии, и тогда я, может быть, поверю вам. Вы от природы пылки, одарены блестящим умом, принадлежите свету. Моран торговец и химик. Он робок и скромен... Эти робость и скромность не позволяют ему сделать первый шаг.

– Да кто же просит его делать первый шаг ко мне? Я их сделал пятьдесят. Он ни одного навстречу. Нет, – продолжал Морис, покачав головой, – нет, это, наверное, не то.

– Так что же?

На другой день после этого объяснения с Женеьевой он прибыл к ней в два часа пополудни и застал ее готовой выехать.

– А, добро пожаловать, – сказала Женеьева. – Вы не откажетесь быть моим кавалером?

– Куда вы едете? – спросил Морис.

– Я еду в Отейль. Погода прекрасная, мне хотелось бы пройтись. Карета отвезет нас за заставу, где и будет дожидаться, а потом мы пешком проберемся до Отейля, и когда я сделаю все, что мне нужно, мы возвратимся в ней домой.

– О, – сказал восхищенный Морис, – какое очаровательное препровождение дня вы предлагаете мне!

Молодые люди отправились. Проехав Пасси, они вышли из кареты на опушке леса и продолжали прогулку пешком.

Дойдя до Отейля, Женевьева остановилась.

– Подождите меня в конце парка, я возвращусь к вам, когда кончу свои дела.

– К кому вы идете? – спросил Морис.

– К одной приятельнице.

– К которой я не могу вас проводить?

Женевьева покачала головой и улыбнулась.

– Невозможно, – сказала она.

Морис закусил губы.

– Хорошо, – сказал он, – я подожду.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.